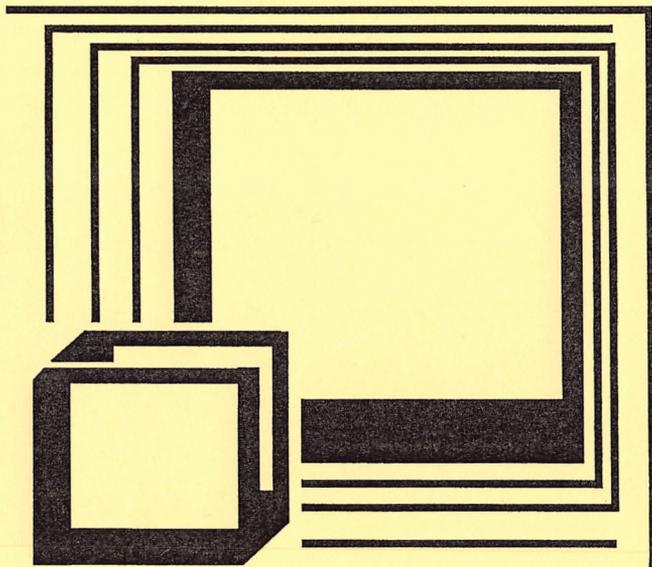


- ❖ Светлана Шенбрунн. Страницы нового романа
❖ Борис Васильев. 1-е Марта 1917 года
8 ❖ Людмила Улицкая. Эссе
❖ Тамара Жирмунская. Нива жизни
❖ Juri Karabtschijewski. Die Auferstehung Majakowskis

СТУДИЯ

*Berlin * Москва*

STUDIO



НЕЗАВИСИМЫЙ
РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH-DEUTSCHE
LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ

STUDIO

Berlin — Москва



BUKWA®
VERLAG

2004

Редакторы журнала
Александр ЛАЙКО,
Михаил РУМЕР

Редакционная коллегия:
Антонина КУДРЯВИЦКАЯ, Ильзе ЧЁРТНЕР,
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ,
Вадим ФАДИН

Художник Маргарита РЁШ
Рисунок на 4-ой странице обложки Ашрафа Гейбатова

Redakteuren:
Alexander Laiko
Michail Rumer

Redaktion:
Antonina Kudrjawizki, Ilse Tschörtner,
Olga Beschenkovskaja,
Vadim Fadin

Design:
Margarite Rösch

© STUDIO - ZEITSCHRIFT BERLIN
ISBN: 3-926520-62-0

BUKWA VERLAG:
Fon: 0511-400 82 60
Fax: 0511-400 82 59
D-1: 0160-514 12 97
E-mail: bukwa1@t-online.de

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА — PROSA

Шенбрунн Светлана. Лето 1951 года. Отрывок из романа.....	11
Васильев Борис. 1-е марта 1917 года. Документальная проза....	56
Александрова Елена. Ночь невесты. Рассказ.....	67
Балл Георгий. Цыганка гадала. Урны. Рассказы.....	76
Агнон Шмуэль Йосеф. Фернхайм. Рассказ.....	175

ПОЭЗИЯ — POESIE

Кузовлева Татьяна.....	4
Елагина Елена.....	60
Каплан Юрий.....	63
Викман Сергей.....	82
Шнайдер Виталий.....	85
Бешенковская Ольга.....	164
Литвина Мария.....	171

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Josepf Brodsky. Gedichte.....	123
-------------------------------	-----

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ — GESTERN UND HEUTE

Колесников Андрей. Неизвестный Чубайс.....	89
Свиридова Александра. Мы — рабы.....	128

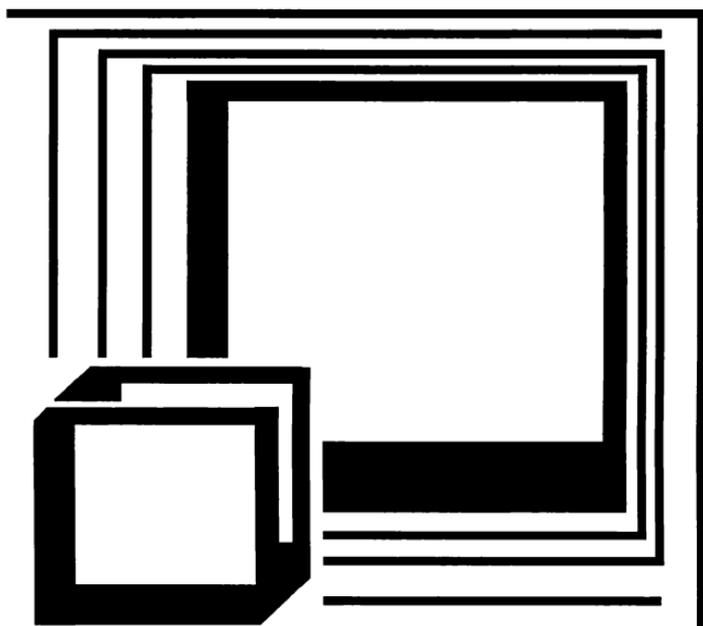
ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ — SCHRIFTSTELLER UND DIE ZEIT

Мадден Елена. Этюд о мыши.....	148
Улицкая Людмила. Возможно ли христианство без милосердия?.....	190
Juri Karabtschijewski. Die Auferstehung Majakowskis.....	194

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ — ECKEN DER GESCHICHTE

Жирмунская Тамара. Нива жизни. Рудольф Штейнер и Александр Мень.....	107
---	-----

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ.....	216
-------------------------	-----



Татьяна КУЗОВЛЕВА

Что гордыня?
Перед кем мне гордиться:
Перед тем, кто в колымской земле?
Перед тем, кто сумел возвратиться
По огню отшагав, по золе?

Перед тем, кто эпохой был выжжен?
Перед тем, кто был загнан в пути?
Перед очередью, где бесстыже
Со служебного входа идти?

Иль пред тем, кто, ловчить не умея,
Греет плечи худым пальтецом?
Иль пред бедною кухонной феей?
Иль пред старцем с землистым лицом?

Я родня им.
Того же я званья.
Ту же я составляю семью.
Это их оплатили страданья
Столбовую дорогу мою.

Потому и гляжусь непарадно,
Что, повержена в общий уклад,
Я усвоила горькую правду:
Тот, кто совестлив, —
Тот виноват.

СЕВЕР

Здесь сущее связано кровно,
Здесь, гулом тесня берега,
Тяжёлые мокрые бревна
Выносит на отмель река.

Здесь чаечий возглас, как бритва,
Над тёмной волной занесён.
Здесь ветра глухая молитва
Напутствует дерева сон.

Здесь совы кричат одичало.
Здесь путник у страха в плену.
И здесь я наверно сначала
Когда-нибудь путь свой начну.

Медведицей трону малину,
Лисой прокрадусь в темноте.
Бесшумною рысью застыну
И выгорблю шерсть на хребте.

И зренье со слухом направлю
Туда, куда вам не попасть.
И только два чувства оставлю
Из множества: голод и страсть.

В холодном июне свинцовые тучи летят.
И не разобрать, что праведно в нем, а что грешно.
И кажется мне, что по жизни иду наугад,
Не тех, не того, не затем окликаю поспешно.

И зреет в душе молчаливый упрямый цветок,
Прекрасный уж тем, что свободен от мук суесловья.
И дождик стучит по стеклу, и плывет на восток
Тревожное небо, и воздух пронизан любовью.

И окна друзей — что ни час, что ни день, что ни год —
Призывно горят, золотей и нежнее латуни.
И вновь надо мной замедляет надежда полёт,
И тень её крыльев меня обнимает в июне.

Ах, этот июнь — он пройдет, непогодой томим,
Иссякнут дожди, и дороги осипнут от пыли.
Но только б по-прежнему там, за окном золотым,
Друзья меня ждали и голос бы мой не забыли.

Да благословенны дома, где нас всё-таки ждут
И где не нужны ни пространные речи, ни тосты.
И где, если даже свинцовые тучи плывут,
Так чудно молчитесь, так дышится вольно и просто...

За то, что не всех схоронили солдат,
С нас спросит когда-нибудь время.
И я, покаянно потупивши взгляд,
Стою перед жертвами всеми.

Пред теми, кто сгинул в жестоких ветрах,
На небо российское глядя,
В бою, в оккупации, в концлагерях,
В плену, и в тылу, и в блокаде.

Простите, что память у нас коротка,
Что близких неся на погосты,
О столах, что слышатся издалека,
Подчас забываем мы просто.

Простите, кто жил в сопредельной земле
И смежил в России ресницы.
Всех смерть уравнила в холодной золе —
Меж мёртвыми нету границы.

Я плачу над теми, кто родственен мне,
Я слезы роняю к поляни.
Но над иноземцами плачу втройне —
Не сладко лежать на чужбине.

Мне крикнут: — Врагов не желаешь судить!
Отвечу: — Неужто мы слепы?
Мы счёты с живыми привыкли сводить,
Но с мёртвыми счеты — нелепы.

А души усопших стремятся на свет,
Над безднами рая и ада.
— Простите, — шепчу. А прощения нет.
Его заслужить ещё надо.

Жаркое лето пошло на излом.
Август пока еще болен июнем.
Бабочка с выщербленным крылом
Ласково льнёт к разноцветным петуньям.

Словно бы ищет себе лепесток —
Чтобы легко, прихотливо, двукрыло
С новою силою в новый поток
Влиться, покамест душа не остыла.

Поторопись, пока в небе светло,
Зной неразлучен с тягучей ленцою.
Благословляю твое ремесло —
Метить соцветия нежной пыльцою.

Кто-то по жизни идет напролом,
Кто-то петляет, пока не собьётся.
Бабочке с выщербленным крылом
Путь этот втрое труднее даётся.

Если бы смела и если б могла,
Пристальным взглядом бы восстановила
Этот обломленный контур крыла,
Режущий сердце с фантомною силой.

ГЁЛЬДЕРЛИН

В средневековом Тюбингене я,
Смахнув напластованья лет,
Безумного искала гения —
Ведь должен был остаться след!

И указали мне прохожие
На башню или равелин,
Где век свой в заточеньи прожил он,
Голубоглазый Гёльдерлин.

И вежливые дети нации
Меня оставили одну,
И, предаваясь медитации,
Я прислонилась лбом к окну:

— Я знаю,
До и после шедшими
Нисколько не бралось во грех
Считать поэтов сумасшедшими —
Так безопаснее для всех.

И прочертивший ночь кометою,
Но зло осмеянный людьми,
Над вечною рекой, над Летою,
Он плакал о своей любви —

Той,
Коротавшей дни угрюмые
Среди постылой чепухи,
Той чистой,
На черте безумия,
Когда рождаются стихи,
Когда струна поёт меж душами,
Когда анахронична речь...

И некому предостеречь,
Что в эту бездну заглянувшие
Не смогут разум уберечь.

Когда смолкают крики птиц,
Когда на небе месяц вышит,
И в нежной ямке меж ключиц
Душа пульсирует и дышит,

Мне видится иная жизнь,
Где не было потерь покуда,
Где бормочу я : «Задержишь» —
Невесть кому, невесть откуда.

И где-то там, у края сна,
Как бы из гулкого колодца,
Звучит мелодия одна,
Но я-то знаю: оборвётся.

Уйдет, как тихий дождик — в сушь,
Напрасной обернется мукой:
Где так щемяща близость душ,
Там всё кончается разлукой.

Я это вызнала. Я впредь
Должна замкнуть и слух, и двери.
Сближает, разлучая, смерть.
Она не знает про потери.

На пядь оттаявшей земли
Четыре пятых сном окутаны.
И так отчётливы вдали
Избушки с крышами лоскутными.

Неряшливых сараев ряд
В покорности и безответности.
Какой хозяйственный уклад
Нас выведет из этой бедности?

Какой пророк укажет путь
К духовной и гражданской цельности?
Поймём ли мы когда-нибудь,
Как наша жизнь сегодня ценится?

Как, разобрав своё житьё,
Я поняла — признаться совестно! —
Долготерпение моё —
Беда моя, а не достоинство.

Отзвучали парадные речи,
Суета обернулась золой,
И каштаны венчальные свечи
Вознесли над притихшей землей;

В облаках, в их глубоких проёмах,
Встал высокий и праведный свет.
Влажным шепотом диких черемух
Оказался мой голос задет —

И тогда, обжигая, тревожа,
Пробивая со дна до высот,
И на то, что прошло, — не похоже,
Не похоже на то, что пройдет,

Хрипловато, светло, бестолково,
Нанизав моё сердце на ось,
Ниоткуда пришло ко мне Слово —
То, с которого всё началось.



Светлана ШЕНБРУНН

Роман Светланы Шенбрунн «Розы и хризантемы», отобранный в шорт-лист Букеровской премии 2000 года, заканчивается эпизодом, в котором двенадцатилетняя героиня романа, будучи в пионерском лагере, получает письмо от своей матери и узнает о смерти бабушки.

Мы публикуем отрывок из третьей части романа, над которым сейчас работает писательница.

Редколлегия

ЛЕТО 1951-го Отрывок из романа

Что это? Жжет, жжет, разрывает ноздри! Я пытаюсь вырваться, выгибаюсь, кручу головой, но кто-то держит, держит за плечи, за голову, прижимает к моему носу какую-то мерзкую мокрую тряпку... Нашатырь, это нашатырь — ну да, у нас дома есть маленький черненький пузырек; когда папа приходит домой совсем пьяный, мама отвинчивает пробку и сует ему под нос. Зачем, зачем они это делают?!

— Очнулась, — говорит кто-то.

— Наконец-то!

Я не хочу, не хочу!.. Зачем они заставили меня очнуться? Мне было хорошо! Зачем!? Столпились вокруг меня, спорят... Что-то такое было... Мамино письмо! Бабушка...

— Бабушка! Бабушка!!! Бабушка!.. — кричу я.

— Хорошо, хорошо, — говорит кто-то. — Успокойся, не вопи так...

— Она умерла! — Как они не понимают? — Бабушка! Бабушка умерла! — я пытаюсь вскочить, вырваться. — Умерла... Теперь она не увидит вот этих деревьев! Вот этих деревьев! Не увидит этих зеленых деревьев!

— Успокойся, — говорит тот же голос. — Хватит, хватит уже!..

Они не знают, они не читали письма!..

— Ну, вы подумайте! — теперь я вижу: это Вера Алексеевна. — Что за мать! Идиотка какая-то! Извините, что я так говорю, но иначе не скажешь. Ведь знает, небось, своего ребенка! Могла бы сообщить мне, я бы как-то подготовила... Нет, это надо уметь! Поспешила, написала — боялась, не успеет! Пожар какой. На следующей неделе родительский день, так нет — понадобилось слать

письмо! Сидит себе там в Москве, а мы тут, выходит, за все ответчики.

— Да, можно подумать, что такая исключительно замечательная новость! — соглашается с ней врач Ирина Самойловна. — Не терпит отлагательства! И умерла-то, насколько я понимаю, две недели назад. Ничего бы не случилось, если бы еще несколько дней потерпела со столь ценным сообщением.

— Бабушка, бабушка, бабушка! — кричу я. — Бабушка!..

— Ирина Самойловна, ну, сделайте что-нибудь, невозможно же так... Дайте ей успокаивающее.

— Легко сказать... — вздыхает Ирина Самойловна.

— И мать хороша, и дочка, я вам доложу, тоже не подарочек! Нет, я ее больше ни за что не возьму. Пусть даже и не мечтают! Сегодня же позвоню в Литфонд. Отец, я так понимаю, не особенно какой-нибудь там... выдающийся... Нужно выяснить.

— Бабушка! Бабушка, бабушка!!!

— Перестань, успокойся!..

Я не могу, не могу, не могу успокоиться! Этого не должно быть! Не может быть! Почему она умерла?! Она не должна была умирать!!!

— Не хочу, не хочу...

Ирина Самойловна пытается засунуть мне в рот какую-то таблетку — ни за что, ни за что! Бабушка умерла...

— Еще и кусается, — говорит Ирина Самойловна. — Придется сделать укол.

— Ну так сделайте укол! — сердится Вера Алексеевна.

— Вот ведь мучение...

Девочки — девочки стоят вокруг и смотрят. Да, нельзя так кричать, нельзя, стыдно так кричать, но что же мне делать? Они не понимают, они не понимают!..

— Бабушка! Бабушка... Она больше не увидит!.. Ничего не увидит! Бабушка, милая!.. Никогда... Даже этих деревьев...

Держат, держат меня... Укол... Я, кажется, засыпаю...

Темно. Темно и ничего не видно. Чуть-чуть светится белая рама окна. Девочки не спят, я чувствую, что они не спят: шушукуются потихоньку. Про меня... Ужасно, что я так кричала... Зачем я так кричала?

— Вы не спите?

Никто не отвечает, все молчат. Плохо... Может, они знают что-

то такое, чего я не знаю? Письмо... А потом? Ничего не помню... Как я очутилась в палате? Был пригорок, я стояла на пригорке. Потом были белые странички маминого письма... Значит, кто-то перенес меня в палату...

— Давайте я что-нибудь расскажу, — говорю я спокойно, совершенно спокойно, как будто ничего не было, как будто это вовсе не я так ужасно кричала. — Я читала одну книжку... Про одного студента, который жил в Австрии...

— Расскажи, — откликается кто-то.

— Его звали Фридрих. Он жил с отцом и матерью в маленьком городке, в горах, на берегу озера. Но потом он уехал в столицу, в Вену, чтобы учиться в университете. В Вене ему очень нравилось. Вена — большой город, почти как Москва, шикарный, много всяких театров, и знатных дам, богатых карет, вообще всяких замечательных вещей. Мать и отец присылали ему деньги, и он снимал комнату в мансарде вместе с еще одним студентом. И вот вдруг он получил от матери письмо. Мать сообщала, что отец его тяжело заболел, поэтому Фридрих должен немедленно выехать домой. Ему было ужасно жалко отца, но ужасно не хотелось уезжать из Вены. Он просто не мог себе представить, как он уедет, не увидит больше Вены, университета, своих товарищей, опять станет жить в своем маленьком скучном городке, где в десять часов вечера полагается тушить все огни и ложиться спать.

— Как у нас в лагере, — говорит Инна Корабельская.

— Фридрих рассказал своему соседу по комнате про письмо матери, тот стал утешать его, сказал, что ничего страшного не случилось, отец поправится, и Фридрих сможет снова вернуться в Вену. Дома он застал отца в очень тяжелом состоянии, но врач уверял, что отчаиваться рано, сказал, что намечаются признаки выздоровления, и следует надеяться, что организм справится с болезнью...

Правда... Организмы должны справляться с болезнями... А бабушкин организм не справился... Я чувствую, что у меня опять перехватывает горло. Не могу больше говорить. Зачем я стала рассказывать?..

— А дальше? — спрашивает кто-то от окна. Я молчу. И девочки молчат.

— Дальше... завтра... — обещаю я.

«Вставай, вставай, дружок!..» Подъем. Да, нужно встать. Проснуться и встать. Буду все делать, как надо. Как положено. Чтобы

Вера Алексеевна не говорила: «И мать хороша, и дочка тоже не подарочек».

Я так и спала в платье. Мне теперь даже одеваться не надо. А сандалии я никогда не надеваю, все время хожу босиком. Сандалии у меня есть, но они просто так, для красоты, стоят в тумбочке. Я их ненавижу. У всех девочек есть нормальные туфли или босоножки, а у меня эти сандалии. Неважно, какая разница, я привыкла ходить босиком. Нужно только причесаться и заправить постель. Немножко кружится голова, но ничего, не страшно...

— Нет, ты лежи, лежи! — говорит Ирина Самойловна: — Завтрак тебе принесут.

— Я лучше сама пойду. Я могу... Правда...

— Нет, ложись и прими вот это. — Она опять засовывает мне в рот какую-то таблетку, которую я совершенно не хочу глотать, но пусть, не буду с ней спорить. Буду делать все, как они скажут. Буду совсем хорошая, спокойная девочка.

Ирина Самойловна уходит, но вместо нее появляется Вера Алексеевна.

— Ну, как ты? Ничего? — спрашивает она. — Вот и правильно! А то раскричалась, как... Как квочка на насесте!

— Я могу встать, честное слово... — говорю я.

— Нет, нет, лежи. Письмо твое... — Она кладет на тумбочку измятые и скомканные листочки, придавливает их ладонью и уходит.

Письмо. Правда, я ведь так и не дочитала его.

«17-го числа умерла мама...»

В груди у меня опять все сжимается, я закрываю глаза и лежу — жду, пока это пройдет. Ни за что не стану больше кричать и плакать.

«17-го числа умерла мама, а эта скотина, твой отец...»

Что?.. Внутри у меня все холодеет, перед глазами начинают качаться серые круги.

«... эта скотина, твой отец...» Какой ужас, какой позор! Что теперь будет?.. Бедный папа... Что теперь будет? Ведь это... Это... Я вся дрожу. Дрожу и не могу унять дрожь. Даже кровать трясется вместе со мной.

«... заявился домой под утро, разумеется, мертвецки пьяный, в таком состоянии, что, поверь, не опишешь никакими словами. Не сумел даже доползти до порога собственной комнаты, рухнул в коридорчике и вдобавок опрокинул на себя твою раскладушку,

так что, я думаю, перебудил всех соседей. Ни один извозчик не позволит себе назюзюкаться до подобного непотребства. Полное забвение всех норм, принятых в мало-мальски приличном обществе. Я уж не говорю об элементарном уважении к близким, бог с ним, с уважением! — но такое скотство, такая подлость, такая низость — полнейшее отсутствие всех сдерживающих центров. Должны же, в конце концов, существовать какие-то пределы? Сам летит в бездонную пропасть и меня толкает туда же. Растянулся, представь себе, под дверью — не знаю, может, воображал, что я кинусь поднимать его, друга любезного. Вот уж, действительно, прекрасная роль: жена мастерового, которая волочет на себе из кабака пьяного мужа! Да еще в такой кошмарный день, когда родная мать валяется в морге. И что более всего удивляет — казалось бы, уже пережито столько ударов судьбы, пора бы, наверно, как-то привыкнуть, смириться, но нет, не удастся. Всякий раз это свинство, это бездушие потрясает заново. Причем с каждым днем падение все глубже. В прошлом году еще хоть как-то прислушивался к моим словам, пытался хотя бы отчасти сохранить видимость приличий, а теперь все окончательно забыто и отброшено. Что ни день, то новое издевательство. Если бы мне кто-нибудь сказал...»

И они все это читали! Читали все это!.. И Вера Алексеевна, и Ирина Самойловна, и вожатые, и воспитатели, и девочки — весь лагерь! Одна только я не знала, что тут написано...

«Воистину, остается только удивляться, сколько человек может вынести. А как подумаю, что еще ждет впереди, так, ей-богу, начинаю жалеть, что не сдохла вместе с матерью. Недаром, видно, сказано: пожалеешь о том дне, когда появился на свет...»

Пожалеешь о том дне, когда появился... Я давно жалею о том дне, когда я появилась на свет. Но что же теперь делать? Что теперь делать?! Если бы можно было вдруг исчезнуть, раствориться, провалиться сквозь землю, никогда больше никого не видеть... Может, попробовать совсем не дышать? Вдохнуть один раз воздух, и все — больше не дышать.

Бедный папа — теперь, конечно, все узнают. Узнают и разстреляют. И в Литфонде — Вера Алексеевна постоянно ездит в Литфонд! — и в Союзе писателей, и в правлении... И в «Новом мире» тоже, и в «Октябре»... Все друг с другом знакомы, будут рассказывать, сплетничать, смеяться... Я, я во всем виновата! Как я могла, как я позволила?! Как я допустила, чтобы весь лагерь прочел такое письмо?! Убить меня мало! Бежать, бежать отсюда!

Девочки возвращаются из столовой. Такие веселые голоса... Они, конечно, все знают... Не дышать, не дышать.

Я комкаю письмо и прячу под подушку. Притворюсь, как будто сплю. Если бы можно было спать, спать и никогда не проснуться. Зачем они сделали так, чтобы я очнулась? Чтобы я прочла... Бабушка! Вернись, услышь, услышь меня, помоги мне!..

Хоть бы эта кровать превратилась в ковер-самолет и вылетела в окно вместе со мной и с проклятым письмом! Не останусь здесь, ни за что не останусь! Уйду пешком в Москву, может, какой-нибудь волк накинется на меня в лесу и сожрет. И никто не узнает, что со мной случилось. Будут искать и не найдут. А письмо разорву на мелкие клочки. Чтобы никто его больше не смог прочесть!

— И вот, — рассказываю я вечером, после отбоя — да, буду притворяться, как будто ничего не случилось, как будто я ничего не читала, никакого письма, — весь день Фридрих ждал, что друзья прибегут повидаться с ним, послушать про его житье в Вене...

Что же делать? Нужно рассказывать, пока все не уснут. А потом встану и уйду отсюда. Насовсем, чтобы меня вообще больше не было тут. Чтобы нигде не было. Буду рассказывать про Фридриха, который живет в Австрии, а потом встану, пройду мимо столовой и зайду в лес...

— Но никто так и не пришел к нему. «Может, они еще не знают, что я приехал?» — подумал Фридрих. Под вечер он не выдержал и вышел из дому — немного прогуляться. Ему повстречались два школьных товарища, он поспешил им навстречу, но они как-то странно посмотрели на него, даже не поздоровались и прошли мимо. Самое удивительное, что через несколько минут то же самое повторилось еще раз — еще два приятеля прошли мимо него, не узнав и не поздоровавшись. Фридрих растерялся и не знал, что думать. «Неужели я так сильно изменился?» — подумал он. На следующее утро он разыскал своего самого хорошего товарища и пригласил его позавтракать вместе в кондитерской в центре города. Но что-то явно было не в порядке: Фридрих видел, что знакомые как-то нарочно сторонятся его, стараются не смотреть в его сторону, а если и здороваются, то очень сухо и сдержанно. Как будто им было известно про него что-то нехорошее... «Не кажется ли тебе странным, — спросил он товарища, — что никто не хочет поприветствовать меня? Неужели никто не рад тому, что я вернулся? Посмотри, люди избегают даже глядеть на меня. Как будто я

чем-то обидел их или совершил какой-то скверный поступок. Уж не распустил ли тут кто-нибудь в мое отсутствие какую-то нелепую клевету, подлый слушок?» «Нет, дело не в этом, — усмехнулся товарищ. — Просто у тебя завелся двойник. Да, представь себе! Я думал, ты уже имел честь повстречать его. Он постоянно околачивается в самых людных местах. Ужасно неприятный тип, вздорный, нахальный, но при этом похож на тебя, как две капли воды. Как родной брат-близнец. Удивительное сходство! Счастье еще, что он носит бородку, а то вас вообще невозможно было бы различить. Все в нашем городе, особенно те, которые не очень хорошо с тобой знакомы, встречая его, думают, что это ты. Да ты и сам наверняка скоро наткнешься на него. Не знаю, на что он живет, но выглядит он полным бездельником — и при каждом удобном случае успеваешь хоть чем-нибудь досадить людям. Ужасный человек — грубый, невоспитанный, необразованный, однако сметливый и острый на язык». «Откуда же он взялся в нашем городе?» — воскликнул потрясенный Фридрих. «Этого никто не знает, — ответил товарищ. — Возник внезапно вскоре после твоего отъезда. Между нами, — прибавил он, понизив голос и оглянувшись по сторонам, — мне кажется, что и болезнь твоего отца каким-то образом связана с его появлением. Поверь мне, он мог использовать ваше сходство в неблагоприятных целях». «Неблагоприятных целей? — удивился Фридрих. — Каких именно?» «Да мало ли, каких? — сказал товарищ. — Твой отец человек уважаемый, пользуется всеобщим доверием. Представь себе, что в какую-нибудь солидную контору или в банк является некто, как две капли воды похожий на тебя, и заявляет, что пришел по поручению отца...» «Слушай, не пугай меня», — вздохнул Фридрих. «В таком городке, как наш, — сказал товарищ, — честное слово человека до сих пор значит гораздо больше, чем любая расписка или вексель».

— Что это — вексель? — спрашивает Тата Семенова?

— Ну, такая долговая бумага... Не знаю точно.

— Какая разница! — сердится Леля Левицкая. — Не мешай, дай слушать!

— И вот, — продолжаю я, — не прошло и часа, как Фридрих и вправду повстречал своего двойника, причем рядом с собственным домом. Можно было подумать, что тот специально дожидался его. Если бы не русая бородка, прикрывавшая нижнюю часть лица самозванца, Фридрих подумал бы, что перед ним поставили зеркало и он видит свое отражение: те же прямые брови, та же уз-

кая переносица, светло-голубые глаза и, что самое удивительное, то же темное родимое пятно на виске — только не на правом, как у Фридриха, а на левом. Отражение, наклеившее бородку. Фридриху вдруг почудилось, что у него украли внешность, он невольно потянулся рукой к своему правому виску — проверить, на месте ли родимое пятно. Двойник стоял перед ним, не двигаясь, нахально усмехался и слегка покачивался с носков на пятки. Фридрих почувствовал, что бледнеет под его презрительным взглядом и вот-вот лишится чувств. С великим трудом он взял себя в руки и двинулся дальше. Двойник как будто хотел последовать за ним или что-то сказать, но передумал и позволил ему пройти мимо. Зайдя в дом, Фридрих, не снимая пальто и шляпы, упал в кресло. Все его мысли смешались и перепутались. «Кто этот человек? — думал он. — Он что-то замышляет, может быть, даже что-то опасное. Необходимо принять какие-то меры», — думал Фридрих, но не мог сообразить, какие. Нужно было с кем-то посоветоваться, поговорить. Но с кем? Отец слишком слаб и болен, его невозможно успокоить, всякое волнение может убить его. Оставалось только одно — поговорить с матерью. «За всем этим скрывается какая-то тайна, — думал Фридрих. — Какая-то ужасная тайна...» Так он просидел в кресле полчаса, а может, и больше. Наконец в комнату заглянула служанка, а следом за ней появилась и мать, госпожа Феербах. «Хорошо, что ты вернулся, — сказала она. — Я не знала, как мне поступить с завтраком. Ты ушел, не позавтракав...» «Я позавтракал в городе, — буркнул Фридрих. — Мама, мне необходимо поговорить с тобой. Ты, наверно, и сама заметила, что тут происходит что-то очень странное». Мать вздохнула и ничего не ответила. Фридрих подумал, что она догадалась, о чем он собирается с ней говорить. Но даже если она и догадалась, то предстоящий разговор, судя по всему, нисколько ее не радовал... В это время...

Что это? За белым переплетом оконной рамы кто-то стоит. То слегка отступает, то вплотную придвигается к стеклу. Я сажусь на постели и изо всех сил вжимаюсь в подушку.

— Что — в это время? — спрашивает кто-то из девочек.

— В это время...

Нет, там в самом деле то-то стоит! Как будто женщина... Наклоняется... Длинные волосы развеваются под ветром, взлетают над головой. И два прозрачных глаза — в точности, как у Гали Константиновой! — светятся, как два лунных камня...

— Ну, что ты? Рассказывай! — требуют девочки. — Что дальше?

— Не помню... — говорю я. — Давайте лучше спать.

— Ну, пожалуйста! — спрашивает Мира Долгопольская. — Так нечестно! Ну почему? На самом интересном месте!

— А что ты хочешь — чтобы тебе за одну ночь пересказали всю книгу? — заступает за меня Света Федина.

Я смотрю на оконный переплет и боюсь отвести глаза. Почему никто из девочек не замечает, что там кто-то стоит, за окном? Сказать им? Нет, не буду — они еще подумают, что я совсем сошла с ума... Спрятаться под одеяло? А если она, эта женщина за окном, заберется в палату?.. Нет, в лес я сегодня не пойду, ни за что не пойду сегодня в лес...

Утро, тепло, солнышко светит, пригревает плечи и спину. Я сижу на пригорке над речкой. Кучка земли шевелится, осыпается у моих ног — это крот роет себе нору, прокладывает подземные ходы, а лишнюю землю выталкивает наверх. Мальчики иногда раскапывают нору и вытаскивают крота наружу. Он толстый, черный и очень симпатичный. У него такая плотная блестящая шуба. Я ни за что не стала бы выкапывать крота — пускай себе живет, занимается своими делами, запасает зернышки на зиму.

Я не пошла сегодня в столовую: не хочу никого видеть... Все пошли на завтрак, а я потихонечку убежала на речку. Как это хорошо, что в Алешине есть речка! Посижу немного, не буду ни о чем думать, ни о чем...

Кусты вдруг раздвигаются, и на пригорок взбирается Галя Константинова. Откуда она узнала, что я тут? Или она просто так шла и случайно наткнулась на меня?.. А может, она почувствовала, что я тут? Если она чувствует взгляд, может, она умеет почувствовать, где искать человека?

— Хорошо тут... — Галя присаживается на ствол упавшего дерева.

— Хорошо, — соглашаюсь я.

— Самое приятное, что никого нет...

Как это нет? А я?.. Какая она красивая... За этот год сделалась еще красивее. Удивительная девочка...

— Полно земляники, — сообщает Галя.

Я не отвечаю. Да, конечно, полно. Тут везде много земляники. Особенно на кладбище.

— Ты очень любила бабушку? — спрашивает она.

— Не знаю. Не думаю...

— А почему же ты так кричала?

— Ты думаешь, это из-за любви? Нет, по-моему, любовь тут вообще ни при чем. Даже если б я ее совсем не любила, все равно это ужасно — что она умерла...

Галя подымает свои необыкновенные светло-серые, прозрачные глаза и смотрит на меня так, будто старается угадать мои мысли. Читает взглядом мысли, которые у меня в голове... Раньше она никогда со мной не говорила, ну может, несколько слов — случайно, а теперь вдруг интересуется, почему я так кричала...

— Ведь это ужасно, — говорю я, — был человек и вдруг его нет. Человек — понимаешь, целый человек, со всеми его... Мама сказала бы: бзиками, но мне не хочется говорить про бабушку «бзиками». Со всеми его мыслями, разговорами, поступками... И вдруг ничего нет... Совсем. И уже никогда не будет. Это ужасно, нечестно, несправедливо!

— Наоборот, — не соглашается Галя и отводит наконец от моего лица свой лунный взгляд, — смерть — это самая справедливая вещь на свете. Может быть, это даже единственная справедливость на земле. Умирают все: и самые богатые, и самые сильные. В конце концов, умирают все...

— Да... Но так не должно быть...

— Что значит — не должно? Невозможно ведь жить вечно.

— Люди не должны умирать!

— Ты чудная... Ты хотела бы, чтобы люди старели, старели и никогда не умирали? Чтобы весь мир наполнился древними стариками?

— И стареть не должны. Это тоже неправильно.

— А если какой-нибудь ужасный злодей? Гитлер, например? Ты хочешь, чтобы он тоже жил вечно?

— Не знаю. Может быть, если люди не будут стареть и не будут умирать, то и никакого Гитлера вообще не будет. Может, это все из-за смерти.

Галя молчит.

— Ты говоришь — справедливость. Про такую страшную вещь, про смерть, ты говоришь: справедливость? Значит, если немцы убивали всех евреев — и взрослых, и маленьких детей, это, по-твоему, справедливость?

— Нет, конечно, — фыркает она. — Убивать — это преступление. А когда убивают детей, то это вдвойне, втройне преступление,

потому что дети... Это ведь не только их убивают, вместе с ними убивают и их детей, вообще все их потомство.

— Никакая смерть не может быть справедливостью.

— А сколько ей было лет?

— Семьдесят два.

— Все-таки она была уже старенькая.

— При чем тут старенькая — она была живая! Она была! Понимаешь, была? А теперь ее нет...

Зачем она делает это? Зачем она говорит об этом? Я сейчас опять закричу...

— Зато теперь у нее ничего не болит. Ты должна радоваться, что она больше не мучается.

— Что значит, не мучается?

— Ну, ничего не чувствует...

— Значит, ты совершенно не понимаешь, что такое смерть. Никто не понимает, и получается, что ты тоже не понимаешь. Ты говоришь так, как будто это какой-то отдых — от боли, от мучений. Какой-то санаторий.

— А разве нет?

— Конечно, нет. «Ничего не чувствует!» Это живой человек может чувствовать, а может не чувствовать. Вот ты, например, чувствуешь сейчас запах земляники, а я не чувствую. А смерть — это совсем другое, смерть — это как да ничего не может быть: невозможно чувствовать и не чувствовать тоже невозможно. Точно также невозможно. Ничего невозможно, совсем! Пустота... От этого я кричала. А вовсе не оттого, что любила бабушку. Понимаешь?

— Нет, — признается Галя и опять впивается в меня своим пронизывающим взглядом. — А ты любишь физику?

— Ну, в общем, да. Папа все время покупает мне всякие такие книжки.

Зря, зря я сказала про папу: Галин папа ушел от них, вдруг он вообще ничего не покупает ей?

Мы сидим друг против друга — я на траве, она на стволе поваленного дерева. Срываем круглые длинные травинки, у которых внутри как будто трубочка, грызем и молчим.

— Ты говоришь: смерть — это вообще ничего, — произносит Галя. — Но ведь ты ее помнишь, правда? Бабушку. И другие люди ее помнят. А пока кто-то ее помнит, получается, что она как будто не совсем умерла.

Помню? Конечно... Все помню. Я сижу за столом, делаю уроки,

а она входит в комнату и начинает рыться в маминых тряпках, искать что-то. Оказывается, она на кухне порезала палец и хочет теперь перевязать его. Подходит к окну, чтобы лучше видеть. Просит меня, чтобы я разорвала край тряпки и завязала узелком. Я подхожу к ней и завязываю маленький аккуратный узелочек. Окно открыто, потому что тепло, весна. Душистый ветерок залетает в комнату, такой хороший запах — сладковатой пыли и чего-то еще. Наверно, солнца. Мне так хорошо от этого теплого ветерка, от сладкого запаха, оттого, что мы с бабушкой стоим рядом у открытого окна... Даже от белой тряпицы у нее на пальце с этим аккуратным узелочком. Я и сейчас, вот в эту минуту, чувствую рядом ее руку, ее теплое тело — даже лучше, чем травинку, которую сжимаю в зубах.

Но зачем, зачем теперь это воспоминание, если бабушка умерла!? Теперь мне больно от него, оно разрывает мне грудь. Да, разрывает — на две половины.

— Она живет в памяти других людей, — говорит Галя.

— Которые потом тоже умрут.

— А ты сама никогда не хотела умереть? — спрашивает она.

Сказать или не говорить? Нет, лучше не говорить. И вообще — при чем тут я?

— При чем тут я?

— Значит, хотела, — решает Галя.

— Даже если хотела, это совсем не то же самое.

— Почему же? Абсолютно то же самое.

— Я тогда была маленькая.

— Я тоже один раз хотела умереть...

Я жду, что она скажет дальше, но она ничего не говорит. Мы смотрим на речку, по которой плывут широкие темно-зеленые листья. Не плывут — лежат, колышутся на воде — темно-зеленые листья и желтые кувшинки... Потом это тоже будет воспоминание. Неужели и от него потом будет так же больно?

— А ты хотела бы сейчас, вот прямо в эту, минуту, уехать в Москву? — спрашивает Галя.

— Нет...

Нет — зачем мне в Москву? В Москву я уж точно не хочу. В Москву?.. «... и вдобавок опрокинул на себя твою раскладушку, так что, я думаю, перебудил всех соседей...» Нет, я не хочу в Москву.

Отбой. Нужно бежать мыть ноги. С грязными ногами Ирина

Самойловна не разрешает ложиться в постель. Она очень строго следит, чтобы все обязательно мыли ноги. Сама лично ходит по палатам и проверяет. Если замечает у кого-то грязные ноги, начинает возмущаться. И главное, ругает Кармелу, нашу вожатую — как это она допускает, чтобы мы залезали в постель с грязными ногами!

Чтобы как следует вымыть ноги, нужны, во-первых, мыло — мыло душистое; во-вторых, полотенце — полотенце пушистое, но пушистых нам не выдают, выдают два вафельных — одно, побольше, для лица (так называется: для лица), а второе, поменьше, для ног; а в-третьих, нужна какая-нибудь обувь, чтобы не идти обратно в корпус босиком. Мыла у меня нет — давно куда-то пропало. Полотенце я почему-то всегда забываю взять — каждый день помню, что нужно взять полотенце, и каждый вечер забываю. А сандалии я никогда не вытаскиваю из тумбочки — не хочу даже видеть их.

Я задираю ногу на умывальник — четыре длинных жестяных умывальника стоят в ряд сбоку от корпуса — и тру ее просто так водой без мыла. Потом изо всех сил отряхиваю чистую ногу от воды и осторожно становлюсь этой почти сухой ногой на землю. Тру точно так же вторую ногу и тоже стряхиваю с нее остатки воды. А потом на цыпочках, на цыпочках пробираюсь в корпус. В начале смены возле стены еще была полоска зеленой травы, по ней запросто можно было пройти, не запачкавшись, но теперь травы уже нет — высохла, а может, вытоптали. Теперь труднее находить чистое местечко, куда можно поставить ногу. Но ничего, я делаю большие-большие, огромные шаги — чтобы поменьше наступать на землю.

В палате девочки накручивают мокрые ленты на спинки кроватей. За ночь ленты успевают высохнуть и становятся как будто глаженные. Я ничего не накручиваю: ленты у меня старые, выцветшие и совсем узенькие, как тесемочки, что толку их накручивать? Красивее они все равно не станут.

Наконец все девочки укладываются в постель, Кармела проверяет ноги, останавливается возле меня, вздыхает, но ничего не говорит и проходит дальше.

Кармела — испанка, из тех испанских детей, которых привезли в Советский Союз после того, как в Испании победил фашист Франко.

— Рассказывай! — требует Мила Загоскина, подбивая подушку.

Это я должна рассказывать. Я смотрю на оконные переплеты — они почти сливаются с вечерними сумерками, — там нет никого с прозрачными лунными глазами. Выдумки. Ика говорит: морок дурной головы. Может, она, эта женщина, появляется только в полной тьме, после того, как часы пробьют полночь?

— Рассказывай! — упрасивают девочки. Хорошо, буду рассказывать.

— Только на следующий день, — рассказываю я, — Фридриху удалось наконец остаться с матерью наедине. Он надеялся, что она что-то знает и даст какое-то объяснение таинственному сходству между ним и неприятным незнакомцем. Но надежды его оказались напрасными: госпожа Феербах твердила, что ей ничего не известно ни про какого двойника своего сына — она его не видела, не встречала и совершенно не понимает, о чем Фридрих говорит. А двойник, между прочим, существовал — и не просто существовал, а преследовал Фридриха, поджидал его на каждом углу и даже приставал с какими-то глупыми вопросами и просьбами. «Не подскажите ли, любезный господин, где тут ратуша?» — заливался он дурацким хохотом, стоя возле самой стены этой самой ратуши. Или принимался выпрашивать у Фридриха несколько монет на табак. Фридрих пробовал объясниться с ним, но из этого тоже ничего не вышло, на любой вопрос двойник отвечал: не имею чести знать, ваша милость. «Как тебя звать, ты хотя бы знаешь?» — спросил Фридрих, стараясь сдерживать свою злость. «Имя-то, конечно, есть, — отвечал его преследователь, — да только оно не настоящее. Я ведь подкидыш, ваша милость. Добрые люди, которые меня вырастили, окрестили Францем». «А где ты жил прежде? — спросил Фридрих. — Ты ведь не из нашего города». «Боюсь, что в этом, — отвечал двойник, — вы как раз ошибаетесь, ваша милость. Сдается мне, что я как раз из вашего города. А жил во многих местах, всех и не припомню. Да и зачем вам знать?» «Чего ты хочешь от меня? — добивался Фридрих. — Скажи, наконец, что тебе нужно!» «Чего мне хотеть от вашей милости? — пожимал тот плечами. — Разве что поменяться внешностью!» — и опять хохотал. Ночью, не в силах заснуть, Фридрих ворочался в постели и пытался найти какую-то разгадку своего ужасного положения. Допустим, думал он, допустим, что моя бедная матушка по какой-то причине не могла иметь детей. И вот... И вот в один прекрасный день она находит на крыльце своего дома младенца. И, разумеется, с радостью берет его себе. Но на самом деле у этого младенца,

то есть у меня, имеется близнец... Которого его родная мать по каким-то своим соображениям либо оставила у себя, либо подкинула в другую семью. Может, опасалась, что люди не захотят взять на воспитание сразу двоих детей... Но если так, размышлял он дальше, если я подкидыш, усыновление, согласно закону, должно быть оформлено... Утром он помчался проверять свое предположение. Но никаких документов об усыновлении нигде не обнаружилось. «Ну что же, — решил Фридрих, — не исключено, что отец и матушка решили скрыть, что нашли подкидыша, и выдали меня за своего родного сына. В такой ситуации люди могут не посчитаться даже с законом». Ему удалось разыскать старичка-врача, который двадцать три года назад вроде бы навещал роженицу и младенца, но тот не смог припомнить ничего особенного. Заявил, что сам лично при родах не присутствовал, поэтому не может сказать ничего определенного, но думает, что подозрения Фридриха безосновательны. А впрочем, посоветовал ему расспросить акушерку, которая принимала роды. «К тому же, молодой человек, — сказал врач, — даже если бы я знал чуть больше, чем я знаю на самом деле, я ни за что не согласился бы разгласить тайну моей уважаемой пациентки». Как выяснилось, акушерка, вроде бы принимавшая роды у госпожи Феербах, умерла два года назад. Ее дочь, с которой Фридриху удалось поговорить, была столь любезна, что разыскала книгу, в которой мать записывала даты родов. Против имени госпожи Феербах было записано, что в ночь на такое-то число та благополучно разродилась младенцем мужского пола и уплатила за оказанные услуги такую-то сумму. Фридрих успел заметить, что сумма превышала размеры обычной платы. Но это, разумеется, еще ни о чем не говорило — ведь и роды у пожилой матери могли оказаться более сложными, чем обычно. И тут Фридриху пришла в голову блестящая, как ему показалось, мысль: посвятить в свои соображения проклятого двойника! Может, тот как-нибудь проговорится и против собственного желания подскажет разгадку. «Знаешь, что я подумал? — сказал Фридрих своему учителю при следующей встрече, — мы с тобой так похожи, что могли бы и подружиться. Почему бы нам для начала не посидеть вместе за кружкой пива?» «Кружка пива, ваша милость, чрезвычайно правильное с вашей стороны предложение! — обрадовался тот. — У меня давно уже пересохло в горле!» И посетители, и хозяин погребка с изумлением взирали на двух молодых людей с абсолютно одинаковыми лицами, но совсем по-разному одетыми.

Фридрих велел принести им пива и заговорил первым. «Ваши догадки не лишены интереса, ваша милость, — сказал Франц, даже не дослушав Фридриха, — но я-то, в отличие от вас, в точности знаю, как оно было на самом деле. Вы правы: ваша матушка и вправду затруднялась подарить вашему батюшке наследника, но под конец Господь наградил его аж двумя сыновьями, близнецами — правда, не от благочестивой супруги, а от проживавшей на соседней улице белошвейки. Вот тут-то, ваша милость, наши с вами пути и разошлись. С одной стороны, не желая простить супругу измены и пылая жаждой мести, но с другой стороны, признавая за ним право иметь законного наследника, ваша любезная матушка согласилась принять в дом мальчика — но только одного. Второго же — лишнего, коим, по злосчастному недоразумению, оказался именно я, отослали с глаз долой и пристроили в крестьянской семье на другом конце страны с условием, чтобы воспитанник никогда не узнал о своем истинном происхождении. Хотя ваш батюшка — правильнее сказать, наш общий батюшка — и высылал регулярно деньги на мое воспитание и пропитание, однако они расходовались не на одного меня, а на всех восьмерых детишек, которых моя приемная родительница произвела на свет — она-то, благодарение богу, не страдала бесплодием и что ни год пополняла свое семейство новым голодным ртом. Так что в отличие от вас, ваша милость, мне с малых лет довелось узнать, что такое нужда и тяжкий труд. И хотя никто не посвятил меня в тайну моего рождения, но нутром я чувствовал, что не создан для столь ужасного положения. В пятнадцать лет я сбежал из дому. Не стану затруднять вас рассказом о своих мытарствах, скажу только, что судьба весьма вовремя привела меня в этот город — как вы уже поняли, родной для нас обоих». «Допустим, — сказал Фридрих, — допустим, что твой рассказ, мой названный братец, верен, и мы действительно некогда появились на свет от одной и той же матери и одного и того же отца. Но чего ты хочешь теперь?» «Своей доли! — сказал Франц, всем телом подавшись вперед и пристально глядя Фридриху в глаза. — Тем более что батюшка наш, как я понимаю, дышит на ладан и вскорости покинет этот бранный мир. Хочу признания своих законных сыновних прав!». «У тебя нет никаких прав, — произнес Фридрих, немного поразмыслив. — Даже если все, что ты сказал, чистая правда, ты никогда не был записан как его сын. А закон верит только бумаге. Да и вообще, откуда у тебя все эти сведения?» «Откуда у меня эти сведенья — это не ваше дело, —

пробурчал Франц. — Но тебе, дорогой брат, все-таки придется потесниться и уступить мне половину отцовского наследства. Достаточно значительного, как я успел выяснить». «А если я откажусь?» — спросил Фридрих. «А если ты откажешься, — прошипел Франц, придвинувшись к Фридриху вплотную, — то в один прекрасный день тебя не станет. И я без особого труда займу твое место, потому что никто не усомнится в том, что я — это ты. Надеюсь, ты не сделаешь такой глупости. Подумай, ведь лучше получить половину, чем не получить вообще ничего. Видишь, может, я не так образован, как ты, но умом господь бог и меня не обидел!». И он опять захохотал на весь погребок. «Какой гнусный, отвратительный тип! — подумал Фридрих. — Похож на меня как две капли воды, и при этом такая низкая коварная тварь... Испорченная, преступная личность...» Так что никакой пользы от этого разговора не вышло, а наоборот, вышли одни только неприятности. Но в дальнейшем он имел неожиданные последствия.

— Кто имел? — спрашивает Катя Семенова.

— Разговор.

— Какой разговор? — не понимает Мила Загоскина.

— Да ну вас, девочки! — говорю я. — Вы уже спите.

— Мы не спим, — спорит Катя. — Ты попонятней рассказывай.

— Разговор имел неожиданные последствия, — повторяю я. —

Что тут непонятно?

— Какие последствия? — спрашивает Ляля Светлая.

Ну да, больно хитрая — так все сразу и расскажи ей! Я пока и сама не знаю, какие. После придумаю. Когда рассказываешь, обязательно надо придумывать что-нибудь такое таинственное и загадочное. Какие-нибудь неожиданные последствия. Иначе будет неинтересно.

— Последствия, — объясняет Таня Зеленская, — то, что последовало, что из этого вышло.

— Ладно, про последствия потом, — говорю я. — А пока что Фридрих снова стал добиваться от матери, чтобы она открыла ему тайну его рождения. Даже потребовал, чтобы она поклялась на Библии, что он ее родной сын, а не приемный. Но госпожа Феербах и слушать не пожелала: «Оставь меня! — воскликнула она гневно. — Как тебе не стыдно приставать ко мне со всякими глупостями, когда твой отец лежит на смертном одре!» — и залилась слезами.

— А дальше? — спрашивает Катя.

- Дальше будет завтра.
- Ну вот, всегда так!..
- Да, всегда так, — говорю я. — Это рассказ с продолжениями.
- С последствиями, — хихикает Наташа Горская.

Ночью мне снится сон — чудной, но очень красивый: как будто я иду через уютные маленькие дворики, дома по сторонам невысокие, двухэтажные, как на Хорошевке, и тоже выкрашены желтой краской, но свежей, блестящей. В каждом доме высокая круглая арка, а за аркой — дворик, клумба с цветами, деревья, зеленые скамеечки. Все такое веселое, приветливое. Еще одна арка, и еще один дворик... Я иду, иду, цветов становится все больше, трудно уже найти место, куда поставить ногу, чтобы не помять их. Крупные, пышные цветы с пухлыми красными лепестками, и покрывают всю землю — толстые мягкие стебли не выдерживают тяжести головок, сгибаются, стелются по дорожкам. Мне кажется, что если наступить на такой цветок, из него сразу брызнет розовый сок. Из кустов выглядывает пушистый зверек. Я пугаюсь, хочу спрятаться от него, но не вижу, где тут можно спрятаться.

— Не бойся, — говорит Галя Константинова, — он ничего тебе не сделает.

Я оглядываюсь — она стоит на крылечке в нарядном голубеньком платье; воротничок и карманчики оторочены беленькими кружевцами.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Мангуста.

— Мангуста? — удивляюсь я. — Похож на медвежонка...

— Нет, это мангуста, — объясняет Галя. — Их тут много.

Зверек встает на задние лапы и протягивает ко мне передние. Я тоже протягиваю к нему руки, он кладет свои тонкие рыжие лапы с длинными острыми когтями в мои ладони. Какой он большой — почти с меня ростом!

Из-под арки вдруг появляется Вера Алексеевна.

— Что за безобразие! — возмущается она. — Кто это допустил, чтобы по территории пионерского лагеря разгуливали животные? Это, в конце концов, пионерский лагерь! На территории пионерского лагеря запрещено держать животных! Ирина Самойловна, куда вы смотрите?

Мангуста пугается ее голоса, приседает, сжимается и удирает.

Мне ужасно жалко, что он убегает от меня, так жалко, что я даже начинаю плакать — громче, громче — и просыпаюсь.

В палате темно. Девочки спят. Почему мне приснился мангуста? Я никогда в жизни не видела мангусту. Даже на картинке не видела. Вообще не знаю, как он выглядит. Может, это бабушка превратилась теперь в мангусту? Она всегда говорила, что ей не страшно умирать, потому что она все равно на том свете воскреснет. Что если она там воскресла и стала мангустой?..

Родительский день. Мы все в пионерских формах — и девочки, и мальчики: темный низ, белый верх. Сестра-хозяйка выдала нам белые кружевные покрывала и такие же белые кружевные накидки на подушки. Палата сделалась нарядная, кровати похожи на снежные сугробы. Или на пирожные бизе, присыпанные сахарной пудрой.

— Ты почему босиком? — ловит меня Вера Алексеевна.

— Я всегда босиком...

— Всегда меня не интересует! — сердится она. — Меня интересует сегодня. У тебя что, нету обуви?

— Есть...

— Так иди и немедленно обуйся!

Что делать, придется надеть эти несчастные сандалии. Действительно, не зря же я их привезла, хоть один раз нужно надеть. Хоть они и очень противные.

Мы бродим по территории и ждем автобусов, которые привезут родителей, а они все не едут и не едут.

— Ну, это все-таки далеко, — говорит Риша (Ира Барашина), — это вам все-таки не Ильинка.

— Да, так что же они — после ужина приедут? — ноет Наташа Горская.

Автобусов не видно, и Вера Алексеевна заставляет Сережу Канторовича сыграть горн на обед. Никто не хочет идти в столовую, все собираются ждать родителей, но Вера Алексеевна обещает: как только автобусы покажутся на горизонте, она тут же объявит.

В родительский день дают самую вкусную вещь на свете — консервированный сливовый компот! И еще вареную курицу с рисом. На каждый стол — на восемь человек — полагается одна курица. Дежурные (дежурят сегодня мальчики из первого отряда) разносят тарелки. Выясняется, что перед Ришей, Инной Корабельской, Елкой Евсеевой и Галей Константиновой они поставили тарелки с

половинками куриной ноги, перед Светой Фединой и Олей Ожановой — с кусками грудки, а нам с Наташей Горской достались крылышки с куском спины. Я бы этого, наверно, вообще не заметила, но Наташа отпихивает свою тарелку и говорит:

— Вот еще! Я тоже хочу ногу! Дайте мне ногу!

— А у курицы всего две ноги, — ехидничает Инна Корабельская. — Это у свиньи четыре.

— Если ты такая умная, вот и ешь сама эту гадость!

Наташа еще сильнее отпихивает свою тарелку.

— Это не гадость, а вареная курица, — поправляет Инна и, как ни в чем не бывало, принимается за свою порцию.

— Я хочу ногу! Ногу — и все! Пускай мне принесут ногу! — визжит Наташа и колотит руками по столу. — Почему им ногу, а мне эту гадость?

Вожатые и воспитатели на другом конце столовой поднимаются из-за своих столов.

— Что такое, Наташа? — волнуется Кармела. — В чем дело? Что случилось?

— Я хочу ногу! Ногу — и все! Пускай мне дадут ногу! — рыдает Наташа.

— Ну, что ты? Ну, подожди, ну так ли это важно? — пытается урезонить ее Кармела.

— Да, это важно, важно! — кричит Наташа. — Что тут есть, в этом крыле? Покажи мне, покажи! Тут одни кости! Может, еще капелька кожи. Я ненавижу куриную кожу! Если неважно, то почему именно мне эту гадость?

Вера Алексеевна, которая до этого стояла у дверей, озирается по сторонам и спешит к нашему столу.

— Тихо! — требует она. — А ну-ка, быстренько все замолчали! Успокойся! Я кому говорю — успокойся! Не ори так, тут пионерский лагерь, а не что-нибудь, понимаете, такое! Ты тут не на рынке.

— Буду, вот назло вам всем буду орать! — обещает Наташа. — Папа с мамой сейчас приедут, я им все расскажу — да, да, не беспокойтесь — расскажу, как дежурные тут лучшие куски раздают своим подружкам, а дочери поэта Горского пихают какое-то несчастное крыло!

— Девочки! — пытается Вера Алексеевна восстановить спокойствие. — Поменяйтесь кто-нибудь с ней.

— Ну вот еще, — говорит Инна. — С какой стати? Подумаешь, принцесса!

Я смотрю в свою тарелку. Я бы поменялась, но у меня у самой крыло...

— Ага, подайте ей то, подайте ей это! — издевается Риша. — А то она рассердится и задрыгает ножками! Дома у мамочки будешь кушать ножку!

— Вот именно, — фыркает Инна. — Дочь великого поэта Горского!

— Лермонтов какой нашелся! — поддерживает Оля.

Никто не любит Наташу. Я, в общем-то, тоже ее не люблю...

— Я чувствовала, чувствовала! — сокрушается Вера Алексеевна. — Надо было делать котлеты — и никаких кур! Это вы, Ирина Самойловна, со своими идеями: в родительский день — курицу! Вот вам и курица. Котлеты, и не было бы места ни для каких претензий!

— Да он вообще, если хотите знать, никакой не Горский, — объявляет Слава Пилярский, один из тех мальчиков, которые разносят обед по столам. — Если хотите знать, его настоящая фамилия Гольдберг.

В столовой становится тихо, все смотрят в свои тарелки и молчат. Нет, никто тут, похоже, не хотел знать настоящей фамилии поэта Горского. Здесь почти у всех настоящие фамилии не совпадают с теми, что наши папы или мамы ставят на обложках своих книжек. Я тоже на самом деле не Шатилова, а Олина настоящая фамилия Бурштейн.

— Галя, я прошу тебя, — умоляет Вера Алексеевна, — я лично от себя прошу: лично для меня сделай такое одолжение, поменяйся с ней этой проклятой ногой. Уступи ей!

— Да пусть берет. Пусть подавится! — Галя подталкивает свою тарелку к Наташе и вскакивает из-за стола.

Стул с грохотом падает за ее спиной.

— Желаю тебе сожрать все куриные ноги на свете! — бросает она Наташе. — Как это все отвратительно, как мерзко! Я хочу уехать отсюда, сегодня же!..

И не оборачиваясь, ни на кого не глядя, высокая и стройная, направляется к двери.

— Вот и попроси свою маму, чтобы она забрала тебя отсюда, — говорит ей вслед Света Федина. — Сегодня как раз есть такая возможность.

— Да, как же, заберет она, — фыркает Инна Корабельская. — Разбежалась!.. Еще и на вторую смену оставит.

— Зато привезет еще одно нарядное платье, — добавляет Елка Евсева.

— Перестаньте, девочки, не болтайте чепухи, — сердится Вера Алексеевна и набрасывается на Наташу: — А ты ешь! Получила свою ногу, так ешь теперь!

Приехали, приехали! Все бегут встречать родителей, подпрыгивают и стараются увидеть своих мам и пап через окошко автобуса. Родители Тани Зеленской приехали следом за автобусами в собственной машине и привезли огромную собаку — добермана.

— Уф! Ничего себе дорожка! — говорит чей-то папа. — Все кости порастрясло.

— Ничего, главное, добрались...

Папы и мамы один за другим выпрыгивают из автобусов, обнимают и целуют своих детей и расходятся с ними в разные стороны. На площадке перед столовой остаемся только мы с Верой Алексеевной, да еще водители автобусов.

— Что, не приехали? — спрашивает Вера Алексеевна.

— Не знаю... — говорю я.

— Чего ж тут не знать? — удивляется она, но для верности еще раз заглядывает внутрь автобусов, как будто надеется увидеть там моих маму и папу. Как будто они сидят там и не догадываются выйти. — Не приехали! Ну, ничего, не расстраивайся, — утешает она, — может, заболели.

— Наверно, — говорю я и изо всех сил стараюсь не заплакать. Только бы не заплакать...

Зачем? Зачем только я надела эти проклятые сандалии! Я поворачиваюсь и бегу за угол столовой, Вера Алексеевна кричит что-то мне вслед, но я не слышу ее.

За столовой колхозное поле, на нем недавно поставили стога — огромные, с трехэтажный дом. Мы не видели, как их складывали, но я умею залазить на них. Я сама догадалась, как можно на них залезть — нужно только поглубже засовывать руки вглубь стога и хвататься за сено: травинки в глубине сбиты так плотно, что за просто выдерживают мою тяжесть. Я перебираю руками и ногами и лезу, лезу наверх, прямо как по лестнице.

Стог мягкий и душистый. Можно зарыться в сено и спать. А можно просто лежать, смотреть в небо и слушать, как кричат пти-

цы. Букашки и муравьишки ползают по травинкам, взбираются иногда на ноги, щекочут шею. Кто-то попискивает внутри стога — может, мыши? Ну и что, пускай, они сюда не полезут...

Не приехали. Почему они не приехали?

Какой-то треск, шелест внизу. Шаги... Кто-то идет. Кто бы это мог идти сюда? Деревенские ребята? Нет, они бы переговаривались, шумели. Может, они видели, как я забиралась сюда, и теперь нарочно договорились подкрасться потихоньку? Они ненавидят нас, если мы проходим мимо, они всегда кричат всякие гадости и обзывают нас очень нехорошими словами. За что они так ненавидят нас? За то, что мы живем в их школе?

Я подкатываюсь к краю стога, заглядываю вниз и почти сталкиваюсь — голова к голове — с Кармелой.

— Я видела, как ты побежала сюда, — объясняет Кармела, переваливается через край стога и усаживается возле меня. Значит, она тоже умеет забираться на стог.

— Почему ты убежала? Из-за того, что родители не приехали?

— Что мне там делать? Сидеть одной на площадке?

— Нет, я понимаю, — говорит она. — Я понимаю... Конечно, это обидно: ко всем приехали, а к тебе нет. Может, заболели?

— Может, — соглашаюсь я.

Мама всегда говорит, что она тяжело больной человек, но на самом деле даже гриппом никогда не болеет. У нее даже насморка никогда не бывает. Вот у папы два раза была рожа. Такое заболевание — рожа. С очень высокой температурой. Он сказал, что это из-за окопной жизни. В окопной сырости размножаются стрептококки и проникают в организм через маленькие ранки и ссадины на коже. Но после войны прошло уже много времени, не может быть, чтобы стрептококки все еще размножились...

— У мамы больное сердце, — говорю я, чтобы Кармела не подумала, что они просто так не приехали, не захотели приехать. — У нее один раз даже был сердечный приступ, и она чуть не умерла. Давно, во время войны...

— А к нам вообще никто никогда не приезжал, — говорит Кармела. — У нас никогда не было родительского дня.

— Где?

— В интернате. И в лагере тоже...

Я смотрю на нее сбоку — ну почему она такая некрасивая? Худая, глаза запавшие, как у старой старухи, под глазами коричне-

вые круги, и нос торчит, как у курицы. Неужели все испанки такие некрасивые?

Папа иногда, когда сидит за машинкой, напевает песенку — задумается о чем-нибудь и напевает:

Запах аптекарской склянки,
Блеск воспаленных очей,
Все это есть у испанки,
Дочери южных ночей...

«Испанка» — это грипп, которым вся Европа переболела после первой мировой войны. Мама говорит, что от этого гриппа умерло двадцать миллионов человек — даже больше, чем погибло на всех фронтах. Двадцать миллионов человек от одного гриппа... Это невозможно представить — двадцать миллионов человек... А папина сестра Ира умерла от тифа — в двадцать втором году, во время гражданской войны. Мама говорит, что тогда люди тысячами умирали от тифа.

— Я даже не знаю, есть ли могила у моего отца, — говорит Кармела. — Скорее всего, нет. Их вообще не хоронили, просто сбрасывали с откоса в реку.

— Откуда ты знаешь?

— Люди рассказывали. Я сама плохо помню Испанию...

— А сколько тебе было лет, когда тебя увезли оттуда? — спрашиваю я.

— Девять.

— Девять лет? Ты должна помнить! Как это ты можешь не помнить?

— Не знаю... Все было так страшно... У нас многие ничего не помнят. Я даже не помню, когда я последний раз видела маму. Даже этого не помню...

— У нас тоже было страшно во время войны, — говорю я, — но я все помню.

— Тут у вас было иначе, не так, как там... Зато я помню, как нас везли на пароходе. Долго-долго и как будто пересаживали с одного парохода на другой. Сначала, мне кажется, был какой-то маленький пароходик, а потом пересадили на большой. И почти не кормили. Нам всем ужасно хотелось есть. Ты не представляешь себе, как мы страдали от голода. А матросы время от времени заглядывали в каюту, показывали шоколадку и старались выманить ка-

кую-нибудь девочку. Но мы не выходили, мы уже знали, что нельзя выходить, потому что если кто-нибудь выйдет, то изнасилуют и выбросят за борт. Это несколько раз случалось, что девочка выйдет и больше уже не возвращается.

Изнасилуют... В «Тихом Доне» Аксинью изнасиловал отец. И мать с братом убили его за это. Но Аксинья была уже не маленькая девочка, ей было шестнадцать лет.

— А если даже и давали какую-нибудь еду, то бросали прямо на пол, как скотине, а сами стояли и смеялись — им нравилось, что мы подлизываем с пола и деремся за каждый кусок, — рассказывает Кармела.

— Что же это был за пароход? — спрашиваю я. — Чей он был? Какой страны?

— Не знаю, — говорит Кармела.

— Но на каком языке они говорили, эти матросы?

— Не знаю...

— Как это ты ничего не знаешь? Как это может быть?

— Может, по-русски... А может, по-английски...

Наверно, наверно, по-английски, конечно, по-английски! — не может быть, чтобы наши русские матросы, наши советские матросы! — делали такие ужасные вещи...

— А потом, уже перед самым прибытием, они накидали нам целую гору шоколада — по несколько пачек на каждого. Наверно, у них осталось очень много этого шоколада. Неиспользованного. И мы набросились на него, стали есть, есть, и нас всех ужасно рвало. Почти никто не мог сам сойти на берег. Я помню, как нас выносили на руках, и меня все время рвало от этого шоколада. А они говорили: бедненькие, укачало.

— Откуда ты знаешь, что они говорили?

— Это я помню.

— А потом? Что было потом?

— Потом? Детский дом. Интернат. Всякое было... Война... И плохое было, и хорошее тоже...

Сверху село Алешино и наш лагерь как на ладони: вот кто-то идет от сарая к столовой, наверно, повариха; над линейкой полочется алый флаг; барский дом, который теперь школа, отсюда кажется очень красивым, прямо как на картинке. А на том берегу речки виден серый двухэтажный барак и несколько таких же серых изб. А вокруг во все стороны тянется лес. Две женщины выходят из лесу с бидонами в руках, наверно, ягоды собирали.

— А что ты сейчас делаешь? — спрашиваю я.

— Как что? Вот, работаю пионервожатой у вас в лагере.

— А зимой?

— Зимой учусь в университете. Изучаю испанскую литературу. Мигель де Сервантес — слышала?

— Слышала, но еще не читала.

— Ничего, прочитаешь. Весь мир его читает. «Дон Кихот Ламанчский» — самая великая книга на свете. А был еще современник Сервантеса Матео Алеман, который написал «Жизнь и подвиги пройдохи Гусмана из Альфараче».

Алеман, Гусман — какие-то не испанские фамилии. Больше похожи на еврейские: Перельман, Зусман...

— И еще великий Лопе де Вега, — хвастается Кармела. — Вообще много, очень много выдающихся писателей. Испанская литература — самая великая из всех. Сегодня у нас тоже есть замечательные писатели. И не только в самой Испании, ты ведь знаешь: в странах Латинской Америки тоже пишут по-испански — в Аргентине, Мексике, Бразилии. И почти все писатели — коммунисты. Самые великие книги написаны по-испански.

Я не очень-то ей верю: придумывает. Преувеличивает... Просто ей хочется, чтобы все самое великое было в Испании. Русская литература уж точно не хуже испанской.

— Знаешь, я иногда слушаю, как ты рассказываешь, — говорит Кармела и сдувает с колен какую-то букашку. — У тебя здорово получается. Особенно мне понравилось про девушку, у которой вдруг пропал жених. У тебя отец писатель? Что он написал, какие книги?

Вот этого я как раз не люблю — когда у меня выспрашивают, какие книги написал мой отец. Сначала пристают — ну, назови, назови хоть одну, а потом хмыкают и говорят, что не слышали. И еще кривятся, дескать, тоже мне писатель — мы про такого и не слыхивали! Кармела тоже наверняка не слыхивала...

— Ты, наверно, сама будешь писателем, — решает она почему-то.

— Я — писателем? Про что же я могу написать?

— Как про что? Про нашу жизнь, например.

— Про нашу жизнь?

— Конечно. Ты, когда рассказываешь, у тебя замечательно получается.

— Так ведь я рассказываю то, что уже написано в книжках! Про-

сто запоминаю и пересказываю. А ты? — вдруг догадываюсь я. — Ты хочешь стать писателем?

Не знаю, — вздыхает она. — Не знаю, может быть, попробую когда-нибудь... Потом, когда вернусь домой.

— Куда домой?

— В Испанию — куда же!

— Ты хочешь вернуться в Испанию? — не верю я.

— Конечно.

— Почему?

— Что значит — почему? Там мой народ, моя земля, моя родина. Может, я сумею разыскать братьев отца, я помню: у него было четверо братьев.

— Но ведь там Франко...

— Ну и что, что Франко? Франко — это не навсегда. Вполне вероятно, что его свергнут. А может, он сам сдохнет.

— И тебе не жалко будет уезжать отсюда, из страны Советов?

— Жалко? Конечно, жалко. Но ведь я испанка!

Испанка... Такая щупленькая, некрасивая...

Автобус перевернулся. На обратной дороге в Москву перевернулся автобус с родителями. Один из трех, но никто в точности не знает, какой именно. То есть, никто не может сказать, кто в нем сидел, чьи именно родители. Все девочки плачут, одна я сижу и молчу. Вчера я была самая несчастная из-за того, что мои папа с мамой не приехали, а сегодня я самая счастливая: если они вообще не приехали, значит, они точно не могли перевернуться. Эту новость — про то, что автобус перевернулся, — привез шофер, который доставляет нам продукты, но он ничего не мог рассказать толком. Просто слышал, что один из трех автобусов с родителями перевернулся. Вера Алексеевна очень рассердилась, что ей ничего не сообщили ни из Литфонда, ни из правления. Но это, наверное, из-за того, что с Москвой не было связи. Она сразу же уселась в кабину грузовика и поехала в Москву, чтобы все разузнать. И весь лагерь теперь ждет ее возвращения. Сегодня она уже никак не успеет вернуться, только завтра. Девочки плачут все громче, режут во весь голос. Ирина Самойловна пытается успокоить их:

— Ну что вы воете, как на похоронах? Может, он все наврал! Может, он перепутал. Может, перевернулся какой-то другой автобус, который вообще не имеет никакого отношения к нашему лагерю!

Девочки не верят в такую счастливую возможность и продолжают реветь.

— Пойдемте в сельсовет! — решает Риша. — Там есть телефон. Может, удастся дозвониться в Москву.

— Нам не разрешат, — сомневается Инна Корабельская.

— Дадим им денег, и разрешат! — говорит Риша.

Мы все идем в сельсовет, я тоже иду, хотя мне нечего волноваться: мои родители вообще не приехали. Но почему они не приехали?

В сельсовете никого нет, дверь заперта и на ней висит огромный замок. Кто-то догадывается пойти в сельпо (сельпо — это лавка, где продают водку, козинаки, консервы «Морская капуста» и какие-то непонятные железки. Мы с Олей иногда покупаем козинаки). Продавщица объясняет, где живет секретарь сельсовета Клава, и мы все вместе идем искать Клаву. Клава вначале ни за что не хочет возвращаться в сельсовет, говорит, что рабочий день кончился, а ей надо полоть огород, но девочки очень упрашивают и она наконец соглашается. Сельсовет — большая изба, в которой есть стол, лавки, этажерка с какими-то папками и печь в углу. На одной стене висит телефон, а на другой стенгазета. На столе тоже разложены газеты, но настоящие, центральные: «Правда» и «Известия». И новые, и старые, даже совсем пожелтевшие. Клава пытается вызвать Москву, но связи нет.

— Не могу я тут с вами сидеть — мне огород поливать надо, — жалуется она, но все-таки остается добиваться связи.

Все девочки сидят на лавках и плачут, а я от нечего делать начинаю читать стенгазету. «Наши колхозники опять не выходят на поля, — написано в передовой статье, — забыли, видно, как прошлой зимой трое померли с голода, а остальные все пухли. И нынешний год, видно, повторится та же картина, если не хуже!».

Да, ничего удивительного: кто не работает, тот не ест. Мы с Олей уже немножко говорили про это: почему почти на всех полях в Алешине растут одни только сорняки, а колхозников совершенно нигде не видно? Никто не ведет никаких полевых работ. Неужели они не понимают, что если никто не будет работать, то зимой им нечего будет есть? Даже дореволюционные малоразвитые и необразованные крестьяне понимали это. Вот у Салтыкова-Щедрина есть такой рассказ «Коняга». Коняга был очень несчастный конь — замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, но он без конца работал — вместе со

своим хозяином, потому что его хозяин, мужик, знал, что надо работать, нельзя не работать, даже если это и очень тяжело. Зато поля у него там, у Салтыкова-Щедрина, были золотящиеся, зеленеющие, а в Алешине все поля серые и растрескавшиеся. Даже сорняки на них уже не растут, до того земля тут твердая и сбитая. Какие-то дураки эти алешинские колхозники. Дураки и лентяи.

Линию наконец дают, и Рише удается дозвониться домой. Она кричит изо всех сил, потому что ничего не слышно, а все девочки перестают реветь, стоят вокруг и слушают.

— Ну, что? Говори, что там? — теребят они Ришу.

— Да ничего, — отмахивается Риша. — Ничего страшного не произошло. Сейчас расскажу.

И опять кричит в трубку. Я придвигаюсь поближе и прошу потихоньку:

— Дай мне тоже позвонить.

— Почему тебе? — возмущается Инна Корабельская. — А мы что, не хотим позвонить? Мы тоже хотим!

— Мы тоже хотим! — кричат со всех сторон.

— Хватит, поговорили и будет! — не разрешает Клава.

— Пускай только она позвонит, — вступает за меня Риша. — Только она, и все. Мы вам заплатим. Девочки, как вам не стыдно? К ней вообще не приехали!

Клава ворчит, но все-таки разрешает попробовать. Если только быстренько. Риша передает мне трубку, и девочки перестают спорить.

Клава набирает номер — гудки, гудки, наконец к телефону подходит тетя Настя, я прошу, чтобы она поскорее — поскорее! — позвала моих маму или папу, я очень боюсь, что связь оборвется и я не успею ничего узнать.

— Алло, кто это? — говорит наконец мама.

— Почему вы ко мне не приехали? — кричу я.

— Что? Не слышу. Кто говорит?

— Это я! Почему вы ко мне не приехали?

— Куда приехали? — удивляется мама.

— Не приехали! В лагерь! — кричу я.

— В лагерь? Какой лагерь? Ах, боже мой, Светлана, это ты? Откуда ты звонишь?

Откуда я могу звонить? Из Алешина, конечно, откуда же еще!

— Почему вы не приехали?

— Не приехали? Ну, что значит, почему? Пока встали, пока со-

брались, пока добрались, а этот проклятый автобус взял и укатил, не мог пяти минут подождать. Ускакал, только хвостиком вильнул. Напрасно протаскались туда и обратно. Но с другой стороны, я слышала, там какая-то авария случилась, так что, может, оно и к лучшему...

Я еле-еле разбираю ее голос сквозь трески и шумы.

— Вы здоровы? — кричу я.

— О чем ты говоришь? Какое, к черту, здоровье! О каком здоровье вообще можно говорить, когда...

И тут линия обрывается, только визг и скрежет раздаются в трубке.

Я прошу Клаву еще раз набрать номер, но она говорит: все, хватит, нет связи! До завтра уж точно не будет.

Все девочки ушли, одна Оля ждет меня — сидит на лавке и читает последний номер газеты «Правда».

— Гляди, — говорит она: — «Наша литература ярко отображает славные дела тружеников социалистической Родины».

— Ну и что? — спрашиваю я.

— Давайте, давайте, идите уже! — торопит от двери Клава. Оля складывает газету, но вместо того, чтобы положить обратно на стол, запихивает себе в карман.

— Зачем она тебе? — удивляюсь я.

— Зачем... Читать!

— Ольга, ты что, с ума сошла? Охота тебе читать такую скукоптицу?

— А чего — не охота? Про литературу! Может, и про мою маму чего-нибудь пишут.

— Про твою маму? В «Правде»? Не выдумывай... Бежим, а то опоздаем на ужин!

— Вот именно, что на ужин, — бурчит Клава, навешивая замок. — Кому на ужин, а кому еще огород полоть...

— Так что же все-таки случилось с автобусом? — спрашиваю я по дороге.

— Да ничего особенного: перевернулся. Не сильно, набок только завалился. Побились, вроде, немного. Бабушка Вадика Смоленского из третьего отряда — знаешь? — руку сломала...

— Не знаю, но какая разница...

А Горский, вроде бы, тоже... Головой обо что-то там треснул. Сознание, вроде, потерял. С перепугу, небось. Говорят, в больницу отвезли, определили сотрясение мозга. Прямо уж — сотрясе-

ние! Чему там сотрясаться-то? Это у Нилина в мозгу одна извилина, а у Горского и той отродясь не намечалось.

— Откуда ты знаешь? — удивляюсь я.

— Откуда! Мама моя сказала. Она с ним пятнадцать лет знакома, если не больше. Она говорит, что он летний дурак. Знаешь, чем летний дурак отличается от зимнего?

— Не знаю.

— Ну, как — зимнего дурака не различишь, пока шубу не снимет, а летний всегда на виду!

Все-то она знает...

Вообще-то, в Алешине хорошо, очень даже хорошо. Можно целый день купаться в речке или валяться на траве и читать книжки, можно идти, куда захочешь, нельзя только опаздывать к обеду и к ужину, а то поднимут тревогу. Мы с Олей боимся заходить далеко в лес, зато мы научились определять время по солнцу. Оля сегодня ушла в поход, все ушли в поход, даже третий отряд, а я не пошла. Я читаю «Овода». Инна Корабельская согласилась оставить мне книжку, но только на один-единственный сегодняшний день. Конечно, не может же она читать в походе. И Вера Алексеевна сразу же позволила, чтобы я не ходила в поход, сказала, что всем будет гораздо спокойнее, если я останусь на территории и буду помогать на кухне. Но я не собираюсь помогать на кухне, я должна успеть прочесть все до конца, пока они не вернулись. Девочки говорят, что это замечательная книга. Почти все уже читали ее, а я вообще только сейчас первый раз про нее услышала.

Так красиво все описано: «Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни».

И имя такое красивое — Артур. Круглый стол короля Артура...

«О боже, — подумал он, — как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

«И не принимай болезненную мечту за высокий призыв...»

«Его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей...» Замечательно... От таких слов как будто щекочет в груди. Щекочет и становится сладко...

«Пойдем рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками».

«... на ложе, усыпанное дремотными маками...» Это потому, что падре Монтанелли был священник, а если пишут про священни-

ков, то обязательно бывают прохладные монастырские дворы, лунный свет, дремотные маки, виноградные беседки и всякие магнолии и цветы японской айвы... Чтобы каждому захотелось вступить под таинственные монастырские своды. Зато священникам нельзя жениться и иметь детей.

«Отмщение господа настигло меня, как царя Давида, — думал он. — Я осквернил святилище его и коснулся тела Господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришел конец. Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом израилевым и перед солнцем: сын, рожденный от тебя, умрет!..». Да, родной сын падре Монтанелли обречен теперь на смерть. Такой молодой, красивый, отважный...

Я лежу на огромной круглой клумбе посреди двора и переворачиваю страницу за страницей. Слезы льются у меня из глаз, я даже не пытаюсь вытирать их. На клумбе хорошо читать — удобно. То есть теперь это не настоящая клумба — раньше была клумба. Теперь никаких цветов на ней нет, даже травы нет, голая земля, но все равно видно, что когда-то это была огромная пышная клумба. Может, в прошлом году, а может, давно, еще до революции. Наверно, до революции: баре любили, чтобы у них были тенистые аллеи, роскошные клумбы, увитые виноградом беседки и теплицы с японской айвой... Конечно, им ведь это ничего не стоило, они эксплуатировали труд крестьян. А Овод мечтал, чтобы не было никакой эксплуатации, никаких захватчиков и церковников. Особенно церковников. Церковников он ненавидел. Становился просто бешеный, когда слышал про церковников. Потому что он узнал, что на самом деле он никакой не сын господина Бертона, судовладельца «Бертон и сыновья, Лондон — Ливорно», а родной сын падре Монтанелли. Он считал, что если падре совершил такой ужасный поступок — посмел родить сына, хотя священникам это строго-настрого запрещено, — то, оставаясь честным человеком, он должен был отречься от сана. Должен был сказать перед всем народом: я грешник и не достоин быть священником! Но ведь если б он так сказал, это означало бы, что он все-таки верит в бога. Потому что если бы он вообще перестал верить в бога... Если бога вообще нет, то какая разница, грешник или нет?

Артур утверждал, что ненавидит Монтанелли за то, что тот всю жизнь лгал. Но почему же он лгал? Он не лгал, он даже подписал письмо, в котором признавался, что это он настоящий отец ребенка. Господин Бертон запросто мог всем показать это письмо и

опозорить его на всю Италию. Он не лгал, он просто не сообщил об этом Артуру. Детям никогда не рассказывают про такие вещи. Тем более что если бы он рассказал, Артур начал бы плохо думать не только о нем, но и о своей матери. А этого Монтанелли уж точно не хотел. Монтанелли любил его мать. И Артура он тоже любил. Не так сильно, чтобы отречься от своего бога, но все-таки очень любил.

«Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага...»

Умереть он был готов, а отречься — нет. Получается, что на самом деле Артур ненавидел своего отца не за то, что тот лгал, а за то, что совершил грех. Совершил грех и опозорил его, своего сына Артура. Сделал его сыном греха. Отрекись от своего бога!.. На самом деле он должен был сказать: я ненавижу тебя за то, что ты оказался плохим, неправильным, недостойным священником. Вот за что я тебя ненавижу!

Ужасно жалко их обоих. Как-то невероятно глупо все случилось...

Овод мог спастись, но специально пошел на казнь, чтобы досадить своему отцу Монтанелли. Обрушить на него смертные муки: вот — или откажись от своего бога, или я не приму от тебя никакой помощи! От тюремного служителя он принимал помощь и не говорил: откажись, отрекись! Разве Италии стало лучше от того, что он позволил себя казнить?

«Я могу принести к престолу Господню лишь одно — свое разбитое сердце...» Разбитое сердце... Замечательная книга. Нет, мне никогда так не придумать...

«И понял, почему они склоняют голову, не глядя ему вслед, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки, и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы...»

«Но стоите ли вы того, чтобы отдать за вас единственного сына!?!»

«Что сделаю я для людей?!» — сильнее грома крикнул Данко. И разорвал руками себе грудь, и вырвал из нее свое сердце, и высоко поднял его над головой. Осветил людям путь... Они тоже этого не стоили — конечно, не стоили, но он не мог иначе...

Хорошо бы вдруг оказаться на монастырском дворе в какой-нибудь Италии. Ночь, цветут магнолии, лунный свет ложится на мраморные дорожки, в тени высокой старинной стены фигура в темном одеянии... «Что тебе до нас, Иисус Назарянин?» Что тебе до нас...

Солнце уже совсем низко, скоро коснется крыши столовой. Девочки скоро вернутся из похода. Кажется, уже вернулись...

— Вот, Мери, и вернулся Гарри твой, Гарри твой! Но он уже не наш из океана!..

Нет, мне нисколько не жалко, что я не пошла в поход. Хотя мама, наверно, сказала бы: «Дурацкую книгу можно было читать и дома, не стоило для этого ехать в пионерский лагерь». Нет, она не сказала бы так, потому что лагерь она не любит даже больше, чем дурацкие книги.

— Мы, Гарри, рассчитаемся с тобой! — ой ли?..

Я поднимаюсь с клумбы и иду к умывальнику: надо умыть лицо, чтобы никто не видел, что я ревела. Сейчас будет горн на ужин. Надо же, я так зачиталась, что совсем забыла про обед. Ничего, подумаешь — мне вообще не хочется есть... Хотя мама очень бы разозлилась, если бы узнала: «Мы не для того платили за тебя деньги, чтобы ты читала там дурацкие книги и пропускала обед!» Это не ее деньги, это папины деньги.

Вот в воздухе блеснули два ножа, два ножа! Пираты затаили все дыханье...

Интересно, а что было бы, если бы Овод стал не революционером, а пиратом? Назло отцу он запросто мог бы стать и пиратом...

Мы с Олей опять сидим в сельсовете и читаем центральные газеты.

«Как-то ночью жители одного из кварталов приднестровского городка Рыбницы, — пишет в «Правде» фельетонист Субботин, — были разбужены пронзительным, душераздирающим визгом. В окнах показались встревоженные лица: «Что такое? Что случилось?» Чей-то спокойный, уверенный голос ответил: «Ничего особенного. Нонну режут!»

— Батюшки-светы!.. — пугается Оля. — Чего это они про такие страсти сообщают?

Нет, оказывается Нонна — это не человек, а свинья. Но свинью вообще-то тоже жалко...

— Свинья? А чего ж они ее ночью режут? — удивляется Оля.

— Потому что... Видишь, написано: на государственный счет вскормлена. Незаконная свинья. Ночью зарежут, а утром на рынок повезут. «Так началась на рыбницком рынке бойкая торговля новой разновидностью колбасы, вскоре по лучившей звучное наименование «черкасовка». В силу вошли кладовщики и оборотистые снабженцы».

Оля вздыхает. Газеты мы читаем так — для вида, для блезиру, как говорит Ика. Просто Оле очень-очень хочется позвонить домой. Я знаю, бывает так: вдруг ужасно хочется что-то сделать, просто необходимо, как будто умрешь, если не сделаешь. Клава, как только увидела нас, сразу догадалась, зачем мы явились, и сразу же объявила, что связи нет и вообще не положено.

— Идите, идите отсюда! Прилипли, вишь, как мухи осенние. Раз снизошла, позволила, так уже и повадились, проложили тропу!.. Телефон служебный, может, начальство из района позвонит, а вы тут со своими разговорами.

— Две минутки только! С мамой поговорить...

— Дома наговоришься!

— Только голос услышать...

— В Москве, что ли, не наслушалась? Нечего. Ступайте!

Тогда Оля пустилась на хитрость.

— А газеты поглядеть можно?

— Газеты... — проворчала Клава. — На что тебе газеты? Гляди, не гляди, сыт ими не будешь...

Но все-таки смягчилась, позволила остаться.

«После дневных хлопот, — читаем мы про «черкасовку», — они раскладывают на столе карту и планируют: «В Николаев будем возить колбасу...»

— Я когда болела тифом, — вспоминаю я, — мне в первые дни ужасно хотелось колбасы... Но не простой, а твердой, копченой. Хотя я никогда в жизни ее не пробовала. Никогда не пробовала, но откуда-то знала, какой у нее вкус...

— А что? Неплохо бы, — мечтает Оля. — Не отказалась бы — копченой колбаски... Вареной, между прочим, тоже не помешает.

«Но за этим планом уже видится нам не предусмотренный его авторами конечный результат, — стоит в конце фельетона. — Их жульнические махинации будут пресечены. В. Субботин».

— Газеты изволь, читай, коли делать нечего. А на телефон не надейся, — предупреждает Клава, — не высидишь!

Оля достает из кармана припасенные на этот случай деньги и начинает раскладывать на краю стола. Кладет один рубль, старательно разглаживает, поверх него кладет другой, потом третий. На пятом рубле Клава не выдерживает и говорит:

— Где ее взять, связь-то? С утра еще не давали...

— Ничего, я подожду, — соглашается Оля и прикрывает свои рублики газетой.

«В решении указывается, что академик Л. А. Орбели до сих пор не выступил с глубоким критическим анализом своих ошибок. С огромным воодушевлением участники заседания приняли приветствие великому корифею науки товарищу И. В. Сталину».

Дверь открывается, и в сельсовет протискивается старуха с двумя бидонами, полными до краев земляники.

— Здравствуй, свет ты наш Клавдия Семеновна! — приветствует она Клаву и опускает бидоны на пол.

— Здравствуй, коли не шутишь, — бурчит Клава. — Чего скажешь? Зачем притопала?

— А так, по дороге. Притомилась вот, — старуха кряхтит и усаживается на свободную лавку, — Силенок не стало... Вышли мои силенки-то... В моих-то годах да по лесам шастать...

— Никто и не гонит, — замечает Клава.

— Нужда гонит, Клавушка, ох, гонит... Поясницу, поверишь, так прихватило, думала и не разогнусь. Ягода — она ведь как? За каждой согнись, каждой поклонись. Сама, подлая, в жбан не лезет.

— А ты не жадничай. На что тебе столько ягоды?

— Как на что? Вестимо, на что — подкормиться. Ежели летом не подкормиться, так зимой и вовсе спадешь с тела. Может, бог даст, и на зиму хоть какой-никакой запасец устрою...

— Из ягоды? — сомневается Клава. — Как же ты его устроишь? Колбасу, к примеру, ее закоптить можно, а ягоду — ее не закоптить...

Клава, наверно, тоже читала про свинью Нонну и колбасу со звучным наименованием «черкасовка». А что ей тут в сельсовете делать, если не газеты читать? Сидит весь день одна, скучно.

— Зачем коптить — вареньев наварю, — говорит старуха.

— Наваришь? С чего? Сахару-то нет...

— Внучка из Москвы обещалась прислать, — поясняет старуха. — Я ей еще прошлый месяц письмецо отписала, так она обещалась. Заверяет, пришлю, мол, даже не сомневайся, пришлю, бабушка, поспошествовую на твою нужду.

— Да сколько же она пришлет? Килограмм? Больше им из Москвы не позволяют слать.

— Из Москвы-то где! Из Москвы и вовсе не позволяют, только с Подмосковья, — поправляет бабка.

— Тем более...

— Ничего, устроится. Подружка у ней в Тушине живет, она с Тушина вышлет. Коли пожалеет меня, убогую, так не поленится, вышлет.

— А и вышлет? Много ли толку? Сколько с килограмма наварить? Ты вон ягоды, поди, полпуда набрала!

— Если бы... Как тащила, так думалось, цельный пуд. А теперь гляжу, и четверти того не будет. А так-то, почитай, всего на круг пудов пять уже наскребла, — хвастается бабка. — Каждый день в лес хожу.

— Небось, уже и погнил весь твой сбор, — догадывается Клава.

— Ничего не погнил! Я и прошлый год ягодой да грибом спаслась.

— Грибы другое дело, — замечает Клава. — Грибы посушить можно.

— Ягоду тоже можно, ежели с умом...

Телефон все молчит, не отзывается на Клавины вызовы.

«Большая сеть вышколенных агентов Уолл-Стрита, — читаем мы с Олей в газете «Правда», — вербует их в Мексике, контрабандным путем переправляет в США и продает там в рабство. Крупным источником массового импорта рабов являются так называемые перемещенные лица. Американская военщина насильственно переправляет десятки тысяч людей из Европы в США, где эти жертвы продаются. Согласно специальному закону, число перемещенных лиц в США к 1 июня 1951 г. намечалось довести почти до 350 тысяч. Небывалое распространение всех форм и методов принудительного труда закрепляется в США все большей фашизацией государственного строя. В последние годы на американских рабочих обрушилась лавина архиреакционных, драконовских законов. Венцом их служит каторжный закон Тафта-Хартли. Даже профессиональный прислужник Уолл-Стрита небезызвестный главарь Американской федерации труда Грин вынужден был признать, что закон Тафта-Хартли ставит рабочих в такие условия, при которых рабочие могут принудить выполнять ту или иную работу для частных предпринимателей, в случае же отказа рабочим грозят тюремным наказанием. Но чем больше свирепствует импе-

риалистическая реакция в США, тем более активные формы приобретает борьба передовых слоев рабочего класса за свои жизненные права и интересы. Даже фальсифицированная правительственная статистика свидетельствует, что за последние три года в США имело место около 12 тысяч забастовок, в которых приняло участие до 8 млн. человек. Для подавления забастовочного движения трудящихся правительство прибегает к использованию не только полиции, но и армии. Так выглядит пресловутый американский образ жизни».

— Главное, до морозов бы додержать, — размышляет старуха, — а там как позамерзнет, так и до весны достоин, ничего ей не делается...

— До морозов! — смеется Клава. — До морозов у тебя еще полета жары. И вся осень непочатая. А ягода, если ее без сахара варить, трех дней не простоит.

— Медком залью...

— А медок откуда? Приснился?

— Может, где расстараясь, добуду... — мечтает бабка.

— Не выдумывай, где это ты добудешь? Шустрая какая! Нынче не по силам людям улы держать. Налог давит. Только совхозы от него освобождены, и то особого профиля. Сдурела ты, Петровна, вот что, совсем свихнулась!

Бабка вздыхает, поправляет белый платок на голове, утирает уголком лицо.

«Комсомолец гранитчик Василий Паршков, — читаем мы в «Правде», — блестящий практик и умница. О нем говорят: «Посмотрите, он строит университет, будет учиться в нем и в нем же, не исключено, станет профессором!»

— Если только в лесу какое дупло найдешь, — размышляет Клава. — Гляди только, чтобы пчелы не загрызли. Дикие пчелы — они злющие.

— Ладно тебе потешаться-то! — сердится Петровна. — Ты мне вот что, это самое... Задвинь покамест добычу-то мою в угол, чтоб глаза не мозолила. А я домой до избы своей сбегаю.

— И что? — удивляется Клава.

— А посмотрю, не сторожит ли бригадирша.

— Чего ей тебя сторожить?

— Как чего? На трудодни гонит! А то, говорит, не будешь, Петровна, трудодни выработать, так и участка приусадебного лишим.

— Запросто, — подтверждает Клава.

— А как распахнется, не приведи Господь, так и ягоду отымет... Ты бы, Клавушка, чем смеяться, подписала бы мне трудней-то этих... Десяточек по крайности... Сделай божескую милость, снизойди к моей печали, — плачет бабка. — По родству нашему...

— Я к этому отношения не имею, — говорит Клава строго.

— Да как же не имеешь? Как не имеешь? — наседает бабка. — К тебе все сводки сходятся. Кто их председателю передает? Ты и передаешь.

— Ты, Петровна, неведомо что болтаешь, — упрекает Клава. — Видно захотела, чтобы нас с тобой обеих упекли за приписки. Читала вон объявление? Опять двое из уголовного лагеря утек-ли. Вот мы с тобой и сядем за колючку на ихнее свободное место.

— Где мне читать? Чего я там вижу — в объявлениях? Глаз уж моих не стало объявления ваши читать!

— Ягоду свою, однако, видишь.

— Ягоду вижу... Она нонешний год крупная.

Бабка зевает и как будто задремывает на лавке.

— Если хочешь знать, — пробуждается она вдруг, — в старые времена в моих годах уже и на барщину не гоняли!

— Ишь ты, по старым временам соскучилась! — хмыкает Клава. — Барщину припомнила... Барщину уже, почитай, сто лет как отменили.

— Барщину отменили, а на трудодни гонют. Молодых вон пускай гоняют. Мое дело на печи лежать.

— Молодых у нас и след простыл, — вздыхает Клава, — которые и были, все разбежались. Как уйдет парень в армию, так все, поминай, как звали. Хоть на Север, хоть в милицию, лишь бы не обратно в колхоз. Да и девки не лучше, как тараканы от свету прыскают. Внучка твоя тоже вон умная — сподобилась, в Москву подалась. Так что теперь только на тебя, свет Петровна, вся надежда.

— Слушай, я тебе вот что скажу... — старуха косится на нас, поднимается с лавки, подходит к Клаве и шепчет ей что-то на ухо. Но Клаве ее слова, видно, совсем не нравятся.

— Нет уж, не путай ты меня в эти дела! — возмущается она. — Забирай, давай свои бидоны и проваливай отсюда! Только ягоды твоей мне тут не хватало! Того гляди, из района начальство придет, а ты мне тут казенное помещение личной продукцией зани-

маешь. И вы тоже, — вспоминает Клава про нас, — давайте отчаливайте. Надумали — в Москву звонить! Сказано, нету связи.

— Ну, попробуйте еще раз, — упрасивает Оля. — Один только последний разочек...

Нет, Клава не желает пробовать еще раз, она злится на Петровну и обещает, что сообщит о ее саботаже бригадирше.

«Тяжелые машины, — читаю я тем временем, — краны, бульдозеры, тягачи — работают на высоких холмах. Здесь создаются горы — первый альпинарий в Советском Союзе и крупнейший в мире. В нем будут живо воспроизведены Гималаи, горы и предгорья Африки, Заполярья, Алтая, Крыма, Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока, Китая и Америки с их разнообразными растениями. Засверкают здесь горные озера...»

Клава отнимает газету и говорит, чтобы мы больше не заявлялись в сельсовет.

— И дети такие же хитрющие пошли! Пронырливые!

— Ей же и хуже, — бормочет Оля, когда мы оказываемся за дверью. — Пойдем, козинаки, что ли, купим, деньги-то остались...

— Кто шагает дружно в ряд? Это наш второй отряд! Наш второй отряд дружно шагает на прополку морковки. Что ж, если у колхозников некому работать в поле, мы будем им немножко помогать. Чтобы они не так сильно пухли зимой от голода.

Траву вдоль речки уже скосили и в поле что-то сжали — не то рожь, не то овес. Света Федина говорит, что это был овес. Но зачем им овес? Это лошади едят овес, но я что-то не видела тут лошадей. Может, чтобы варить овсянку?

Мы идем через поле напрямик к морковным грядам. Не очень-то приятно ходить босыми ногами по жнивью, но ничего, можно приспособиться — я умею ставить ногу не сразу на всю ступню, а подгибать вбок и приминать торчащие из земли стебли, тогда не так колется.

Если бы нам не сказали, что это морковные гряды, мы бы ни за что не догадались: бурьяна и колючек тут в сто раз больше, чем морковки. Морковка крохотная, не так просто заметить ее. А некоторые девочки и не пытаются замечать — выдирают все подряд, и ладно. Но зачем же тогда пропалывать, если вместе с сорняками выдирать и морковку?

Деревенские ребята бегут мимо на речку и кричат:

— Девки! Пошли с нами! Мы вам лучше морковку покажем!

Вместо того чтобы пропалывать колхозные грядки, бегут на речку и еще кричат всякие глупости.

— Дураки, хулиганы! — кричат наши девочки им в ответ.

— Кулаковой тете Вале — прусаки на сеновале — титьки зараз оторвали! — кричат мальчишки.

— Девочки, не слушайте их! Не обращайтесь внимания, — призывает Кармела. — Работайте. Мы пришли сюда, чтобы пропалывать морковь.

— Ну, вот еще! — говорит Катя Семенова и садится на грядку. — С какой это стати мы должны на них работать? Пускай сами работают, бандиты несчастные!

— Вы не на них работаете, — объясняет Кармела, — вы работаете на тех несчастных старух, у которых сыновья погибли на фронте. У них самих уже нет сил работать, и они голодают и даже умирают от голода. Наш пионерский и комсомольский долг помочь им.

Девочки возвращаются к грядкам, Катя тоже нехотя подымается и принимается драть бурьян.

Грядки длинные-длинные — не меньше полкилометра каждая. Солнце припекает сверху. Я вдруг замечаю, что все девочки давно обогнали меня, ушли далеко вперед, а я все сижу и ковыряюсь в начале своей бесконечной грядки. Ладони саднит от всяких колючек и жестких упрямых сорняков — почему я не догадалась обмотать руки какими-нибудь тряпками? В следующий раз обязательно найду что-нибудь такое, чем можно обмотать руки. Иногда вместе с сорняками нечаянно выдергивается морковка, и мне делается ужасно жалко ее. Бедная — если б я ее не вырвала, она бы выросла... Сорняков так много, а этих несчастных морковинок так мало...

Что такое? Что-то случилось... Все девочки вдруг вскакивают и бегут в сторону речки. Пускай, я никуда не побегу, останусь пропалывать. Хоть немного нагоню их. Не так будет стыдно, что ничего не сделала.

Далеко, на пригорке, со стороны лагеря, показывается врач Ирина Самойловна. Бежит бегом. Подпрыгивает, перескакивает через кустики. Что же такое могло случиться? Кому-то напекло голову? Пойду все-таки посмотрю.

Девочки столпились у берега. У самой воды лежит Антон Минкин из первого отряда, длинный такой, тощий мальчик. Оля говорит про него: хворостина немеренная. Все его дразнят Минкин и

Поджарский. Только никакого Поджарского нет. Один Минкин. Станный такой мальчик, сутулый и с очень бледным лицом, дружит только с Колей Холодовым, да и с ним не очень-то. Девочки говорят, что с Минкиным невозможно дружить, потому что если ему кто-нибудь что-нибудь скажет, он сразу злится. Даже кидается драться.

— Надо качать, качать его надо! — волнуется деревенская женщина, которая работает у нас на кухне судомойкой. — Одеяло тащите, качать его надо!

— Не говорите глупостей! — сердится на том берегу Ирина Самойловна. — Нужно делать искусственное дыхание. Кармела, начинайте делать искусственное дыхание!

Сама она мечется без толку по берегу, потом приподымает подол, осторожно опускает в воду одну ногу, нащупывает дно, опускает вторую ногу, оскальзывается, взмахивает руками, но все-таки продолжает продвигаться к середине речки.

— Надеюсь, здесь неглубоко, — бормочет она. — Я не умею плавать, я сама утону. Девочки, если я начну тонуть, вы сразу меня спасайте. Не ждите, пока я совсем захлебнусь. Кармела, что вы стоите? Делайте искусственное дыхание! Не умеете делать искусственное дыхание? Хорошо, я научу вас — опуститесь на колени — возле головы, возле головы! — поднимите руки вверх — да не ваши руки, его! — и отведите назад...

— Что с ним? — спрашиваю я.

— Ничего особенного, утонул, — говорит Оля.

Утонул? Как, совсем утонул? А лежит как живой... Неужели в этой речке можно утонуть?

С пригорка скатываются Вера Алексеевна и следом за ней Марина Петровна, воспитательница третьего отряда.

— Нас всех посадят! — предупреждает Марина Петровна еще издали. — Шутка ли дело — в пионерском лагере утонул ребенок!

— Не каркайте! — прикрикивает на нее Вера Алексеевна. — Что за смена такая — что ни день, то приключение!.. А что, что я могу сделать? Я предупреждала: ограды нет, дети распущенные, избалованные, что хотят, то и вытворяют! Сотня слишком умных писательских отпрысков. Абсолютно недисциплинированных. Попробуй, уследи!

— Сотня юных бойцов из буденновских войск... — запевает Оля не очень громко, но и не так чтобы слишком тихо.

— Ты что, перестань! — толкает ее в бок Инна Корабельская.

— Нас всех посадят! — Марина Петровна с разбегу шлепается в воду.

— Ладно, хватит прежде времени зауспокойную петь! — Вера Алексеевна останавливается на том берегу. — Где Юра? Где Эллайда Васильевна?

— Юра сегодня проводит соревнования по прыжкам в высоту, — докладывает Леля Левицкая.

— Вот как: соревнования по прыжкам в высоту! — повторяет за ней Вера Алексеевна. — Молодец! А где Эллайда Васильевна?

— Эллайда Васильевна с племянником, — сообщает Марина Петровна из речки.

— Каким племянником? Каким еще племянником!? Она приехала сюда работать воспитательницей, а не болтаться с племянниками!

— Разве вы не знали? — удивляется Марина Петровна. — Он еще позавчера приехал. Высокий такой юноша. Чернявенький. Брюнет, можно сказать. Студент вроде бы. Лет на десять младше ее. Я ходила сегодня в сельпо и видела их — загорали в палисаднике. Он в одних трусах, а она в трусах и в бюстгальтере.

— Я ей покажу палисадник! — обещает Вера Алексеевна. — Идите и тотчас доставьте ее сюда! Чтобы тотчас явилась сюда. Немедленно! Так и скажите: немедленно!

— Хорошо, — говорит Марина Петровна, выбираясь на берег, — скажу. Если только она послушается меня.

Ирина Самойловна тоже выкарабкивается из речки, на четвереньках подползает к Антону и хватает его за руку.

— Как хотите, но нас посадят, — повторяет Марина Петровна, удаляясь. — В пионерском лагере утонул ребенок!.. — Платье у нее прилипло к телу, сквозь мокрую ткань видны белый широкий лифчик и сизые рейтузы до колен.

На пригорке появляется Юра, вожатый первого отряда, а за ним почти все мальчики.

— Объясни мне, каким образом он оказался у тебя на речке? — набрасывается Вера Алексеевна на Юру. — Почему ты не включил его в соревнования?

— У него большое сердце и он освобожден от любых занятий физкультурой, в том числе и от прыжков в высоту, — объясняет Юра.

— Так пусть бы сидел зрителем! От прыжков в высоту он, видите ли, освобожден, а от плавания в этой проклятой речке — нет!

Оказывается, Юра лучше всех умеет делать искусственное дыхание. Антон вдруг садится, изо рта у него вырывается фонтан воды, он снова падает на траву, начинает биться и крутить головой.

— Живой? — спрашивает Вера Алексеевна. — Юра, отвечай, не мучай — живой?

— Надеюсь, что живой, — отвечает Юра.

— Похоже, очухается, — подтверждает Ирина Самойловна. — Если только мозговые центры не пострадали от длительной недостатка кислорода.

— Пострадали или не пострадали, он у меня завтра же, завтра же поедет в Москву! — обещает Вера Алексеевна. — Одного дня тут не останется. Только бы очухался...

— Матерь божья, святые угодники! Только бы очухался!.. — повторяет за ней судомойка.

Со стороны деревни показываются Эллаида Васильевна и Марина Петровна. Эллаида Васильевна неторопливо вышагивает впереди — в прелестном воздушном цветастом халатике и розовых домашних туфельках, облепленных блестящими ракушками. Марина Петровна держится сзади. Вера Алексеевна позволяет им подойти поближе.

— Так что же, Эллаида Васильевна? — спрашивает Вера Алексеевна. — Получается, что пока вы тут отдыхаете и загораете с племянником, у вас в отряде тонут дети? Кстати, где он, этот племянник? Интересно посмотреть на него.

— Он у вас не работает и не обязан никому себя демонстрировать, — Эллаида Васильевна гордо вскидывает голову и даже не смотрит в ту сторону, где Юра возится с Антоном. — И я, между прочим, тоже с сегодняшнего дня у вас не работаю. Я подаю заявление об уходе.

— Не работать у меня вы будете в лучшем случае с завтрашнего дня! А за сегодняшний день вы ответите по всей строгости закона, — предупреждает Вера Алексеевна. — Можете не сомневаться — по всей строгости! Из-за вашего безответственного, можно сказать, преступного поведения едва не утонул ребенок. Понимаете вы?! Едва не утонул ребенок! А вы тут еще позволяете себе важничать и задирают нос!..

— Не раздувайте из мухи слона! — фыркает Эллаида Васильевна. — Едва не утонул! Едва — не считается. А даже если бы и утонул, тоже ничего особенного — менее одного процента отдыхающих.

— Ах, вот как! Менее одного процента! — Вера Алексеевна задыхается от возмущения. — Прекрасно! Вот это вы скажете его родителям. Все, больше мне с вами не о чем разговаривать! Еще неизвестно, чем это кончится. Не исключено, что пострадали мозговые центры. У мальчика и так большое сердце.

Эллаида Васильевна пожимает плечами.

— Не пугайте, не из пугливых! Подождите, я еще сообщу куда следует, как мы тут под вашим мудрым руководством движемся к коммунизму! А вы, — бросает она Марине Петровне через плечо, — нарочно развели панику: утонул!..

Она поворачивается на своих красивых розовых каблучках и направляется обратно в деревню, к племяннику.

— Ах, ты, змея!.. — говорит Вера Алексеевна.

Эллаида Васильевна — жена писателя, причем весьма известного, лауреата Сталинской премии. Наверно, поэтому она и не боится Веры Алексеевны. Она с самого начала, как только приехала, предупредила, что не собирается жить на территории лагеря, а снимет себе комнату в деревне. Непонятно только, зачем ей вообще потребовалось работать у нас в лагере воспитательницей.



Борис ВАСИЛЬЕВ

Документальная проза

1-е МАРТА 1917 года

Я неожиданно получил рукопись из Северо-Двинска, города, в котором никогда не был. Рукопись предваряла записка: «Разбирая старые семейные бумаги, я нашла записки, которые вас могут заинтересовать».

Вот эти записки.

«Вся жизнь моя, ныне контр-адмирала, прошла на флоте. Я начал служить по выпуску из училища командиром спасателей на подводной лодке еще безусым мичманом. Учение было тяжелым, нас учили плавать и хорошо ориентироваться под водой, специальными упражнениями развивали наши легкие, и я, например, в конце концов достиг того, что мог продержаться под водой, не дыша, более полутора минут.

Конечно, спасателей выпускают через торпедные люки с воздушным баллоном, маской и шлангом, но шланг может запутаться, его могут перерезать ножом противники, и поэтому подобная жесткая тренировка просто необходима. В данном случае она спасла мне жизнь без всякого преувеличения. Не будь у меня этих навыков, я бы оказался на дне Мойки, как десятки других моих сослуживцев.

Наша лодка стояла тогда в Кронштадте, лишь изредка рискуя проводить тщательно подготовленные рейды. На Балтике господствовали германские быстроходные противолодочные бронекатера, справиться с которыми было очень трудно. У них были мощные эхолоты, которые контролировали наши субмарины, едва мы выходили с базы в открытое море.

И тут — отречение Государя, Февральская революция и всеобщее торжество. Старшее офицерство не одобряло ни отречения, ни тем паче, революции, но мы, молодежь, мичманы да лейтенанты, пребывали в бурном восторге. А поскольку 1-е марта было объявлено Временным Правительством Днем всеобщего согласия, мы немедленно поехали в Петроград на катере и радостно примкнули к шествию, которое двигалось по Невскому от Дворцовой площади.

Мы — я имею в виду младших флотских офицеров — дошли только до Мойки. Почти до моста, где вдруг оказалась большая группа матросов со списанных кораблей. Они не трогали гражд-

данских лиц, они дружно бросились выдергивать из колонны морских офицеров. Их жестоко били, а потом, раскачав, сбрасывали в Мойку.

Меня выдернули тоже, тоже били, и я изо всех сил прикрывал голову. Она нужна была мне там, в воде, куда, как я полагал, они меня бросят. Кортик мой был вопреки уставу под шинелью, они его не нащупали и, избив, швырнули в ставшую печально известной Мойку.

В отличие от остальных офицеров я не барахтался на поверхности. Я сразу ушел на дно, телом проломив уже тонкий лед, и сквозь него разглядел смутные очертания моста. И поплыл к нему под водой, забившись под свод, который был ближе к тому берегу, с которого нас бросали, а потому сверху не проглядывался. Достал из-под шинели кортик и, еще под водой, накрепко всадил его в щель между гранитными плитами. Теперь мне было, за что держаться, я осторожно, высунув губы, перевел дух, и сквозь воду и истонченный лед увидел, как цеплялись за гранит набережной мои товарищи, как матросы с размаху, прикладами били их по рукам, по головам, а то и штыками сталкивали в воду.

Вода была уже красной от крови. Эта горячая, живая кровь плавила лед. Он впитывал ее, становился красным, но сквозь него все еще проглядывали мои товарищи, которые барахтались среди окровавленного льда. Барахтались, дико кричали, а в них бросали булыжниками, но почему-то не стреляли. Чтобы продлить удовольствие мучительной казнью, что ли... И тела в черных шинелях шли на дно, на дно один за другим.

А я, вцепившись в кортик, менял воздух в легких, только чуть вытянув губы среди обломков окровавленного льда. К счастью, я умел это делать...

Матросы дважды заглядывали под мост, чтобы проверить, все ли офицеры ушли на дно. Делали они это с криками и шумом, и я заранее уходил под воду. Потом матросская палаческая деятельность закончилась, они то ли ушли отлавливать новых офицеров, то ли примкнули к хвосту демонстрации, но я терпеливо дождался темноты.

Я не снимал шинель, по опыту зная, что даже мокрая шинель способна сохранять тепло моего тела. Плыть в ней было неудобно и тяжело, но я плыл к друзьям, которые жили вниз по течению реки. И благополучно добрался до их дома, сумел уговорить двор-

ника не поднимать шум, и был спасен. Правда, перенес тяжелое воспаление легких, но — к счастью. Меня уложили в больницу, где меня не только вылечили, но и дали гражданскую одежду и документы помершего владельца. Это на первых порах помогло мне избежать мобилизации в Красную Гвардию, поскольку я был признан негодным для строевой службы. Я был зачислен в трудармию, занимался уборкой города и ремонтом поврежденных зданий, но мечтал о флоте. И как только была разгромлена Миллеровская авантюра, добровольно попросился в Северо-Двинск. И там в конце концов попал на флот, закончил курсы и дослужился до звания контр-адмирала.

А выйдя в отставку, занялся тем, чему я оказался свидетелем и что мучило меня всю жизнь. Еще на флоте я раздобыл «СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА СУДОВ ФЛОТА», и начал свои розыски в военных архивах, разрешение на которые я добился.

После долгих трудов я составил список офицеров, погибших 1-го марта 1917 года во время матросской расправы на реке Мойке.

Список прилагается.

ВИРЕН Роберт Николаевич. Адмирал.

НОВИЦКИЙ Павел Иванович. Вице-адмирал.

БУТАКОВ Александр Григорьевич. Контр-адмирал.

ЛЬВОВ Николай Георгиевич. Контр-адмирал.

НЕБОЛЬСИН Аркадий Константинович. Контр-адмирал.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Ростислав Дмитриевич. Контр-адмирал.

КАРЦОВ Виктор Андреевич. Контр-адмирал.

НЕПЕНИН Андриан Иванович. Контр-адмирал.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович. Контр-адмирал.

КАСЬКОВ Митрофан Митрофанович. Контр-адмирал.

ОВЧИННИКОВ Иван Алек-вич. Ген. лейт. Флота.

ГИРС Николай Лаврентьевич. Ген.майор флота.

СТРОНСКИЙ Ник. Васильевич. Ген.лейтенант флота.

ПЕКАРСКИЙ Георгий Петрович. Кап. 1-го ранга.

РЕЙН Николай Глебович. Кап. 1-го ранга.

ПОВАЛИШИН Михаил Иосифович. Кап. 1-го ранга.

СТЕПАНОВ-2-й Константин Васильевич. Кап. 1 ранга

ГЕСТЕСКО Евгений Евгеньевич. Кап. 1-го ранга.

граф КАПНИСТ Алексей

ВЛАДИСЛАВЛЕВ Петр Петрович. Кап. 1-го ранга.

НИКОЛЬСКИЙ-1 Михаил Ильич. Кап. 1-го ранга.
БАСОВ Александр Матвеевич. Кап. 2-го ранга.
ПОЛИВАНОВ-2 Михаил Митрофанович. Кап. 2-го ранга.
РЫБКИН Борис Николаевич. Кап. 2-го ранга.
СОХАЧЕВСКИЙ Владимир Илларионович. Кап. 2-го ранга.
БУДКЕВИЧ Викентий Викентьевич. Ст. Лейтенант флота.
БУБНОВ-3 Геннадий Александрович. Л-т флота.
ПАВЛОВ Александр Леонидович. Полк. по Адмиралтейству.
ГОРСКИЙ Вл. Михайлович. Подполк. по Адмиралтейству.
НЕЛИДОВ Павел Сергеевич. Капитан по Адмиралтейству.
БЕЛЯЕВ Михаил Евгеньевич. Капитан по Адмиралтейству.
РОМАНОВ Василий Андреевич. Капитан по Адмиралтейству.
ЛЕВШИЦ Степан Иванович. Штабс-кап. по Адмиралтейству.

Прошу обратить внимание, что в этом списке нет мичманов.

А ведь мы, служившие в Кронштадте мичманы и лейтенанты Балтийского флота, вместе прибыли в Петроград, где и примкнули к колонне гражданской, чтобы не ощущать табель о рангах хотя бы в этот праздничный день. Играла музыка, дисциплинированно шагала по Невскому интеллигенция, служащие, много было рабочих, студентов, гимназистов. И все — с красными бантами на груди...

Только в ней не было ни солдат, ни матросов. Вероятно, их приберегали для иной цели.

И все же я рискнул вписать в поминальный список одного мичмана. Самого себя. Под той фамилией, которая принадлежала мне до моей духовной смерти под мостом Мойки...

А старшие флотские офицеры так и не попали в Петроград. Они были растерзаны, как адмирал Вирен, заколоты штыками, утоплены в море и забиты прикладами. Тридцать один человек, потому что тридцать вторым был я, мичман, самовольно вписавший себя в этот скорбный список.

Одна мысль до сей поры не дает мне покоя. Ведь это истребление офицеров флота кому-то было нужно. Сужу по тому, что армейских офицеров матросня не трогала, а советская власть никогда не упоминала о трагедии Второго Дня Свободы ни в каких открытых изданиях, не говоря уж об учебниках истории.

Таким оказался Второй День свободы нашей Родины.

Россия — странная страна. Она очень боится собственной истории.

Елена ЕЛАГИНА

ГЕЛИОФОБИЯ

1.

Загадочный, как сад камней,
И камень сам. Не лёд. Не пламень.
Что ночи тягостной длинней,
Ответишь, инопланетянин?
Вампир беззубый, кровь с водой
Рассеяннo губой запавшей
Удерживающий — не мздой,
Но тьмой, тебя назвавшей
По имени, живёшь. Каким
Ты к нам заброшен наказаньем?
Любовью мир стоит? Другим?
Постой, сама скажу — страданьем.

2.

Тонкогубый мой ангел с дьявольским ухом без мочки,
Златокудрый мой, пепельноглазый, рождённый в сорочке,
Как и все вы — с крыльями пышными за спиною,
Спят зренье перья твои своей белизною.
Одного не пойму — отчего так боишься света,
И закрыты ставнями наглухло все просветы,
Ни малейшей щёлочки — только трепещут свечи,
Только тени мечутся в тщетных попытках речи,
Смежены глаза — по канону, но и уста смежены,
В пробуждённом знанье не нашей, ничьей вины...

3.

Словно в опустевшем доме, где болтаются в прихожей
Куртка, из которой вырос, и ботинки, что стоптал,
Где принюхиванье дерзкой твари ощущаешь кожей
Сквозь темнеющий тревожно мутный зеркала овал,

Словно в опустевшем доме, где ободраны обои,
И свисает провод голый с неживого потолка,
Где ржавеет звонкий холод, где с сознанием перебои,
Отличить где сон от яви тщетно пробует тоска...

В опустевшем, в разорённом, тьмой в чулан преображённом,
Где обжитое пространство притворяется чужим
И дичает, как собака без хозяина в сожженном
Поселении... Вот и почерк, вдруг утративший нажим,

Непонятно, что выводит, непонятно, что рисует,
То ли имя, то ли дату, то ли профиль на стекле,
Но стекло листвою осенней осыпается, и дует,
Свищет, засыпает снегом всё, что в трещинках кракле

Существует в этом мире и горит под этим солнцем —
Обожженной вечной глины отвердевшие дары,
Словно в опустевшем доме, где забиты все оконца,
Вечность дышит сиротливо из космической дыры.

В.Верейской и экс-губернатору СПб В.Яковлеву

Когда рубят деревья
особенно в твоём
навек родном дворе,
будто что-то в тебе самом обрубает:
обривают наголо
твоё детство,
ощипывают, как курицу,
твою юность,
пинают, как шелудивую кошку,
твою зрелость,
поливают бензином и сжигают
твою старость —
будто мстят кому-то,
а кому —
вряд ли сами догадываются.

Юрий КАПЛАН

На той половинке земли,
Как половцы вьюги пируют,
Декабриолеты зимы
Играют серебряной сбруей.

Там снег засыпает следы,
Когда выпадает, как жребий,
Там арка, как радуга в небе,
Над той половинкой судьбы.

Не скажешь мгновенью: «Замри!»,
А звёздам — чтоб утром не гасли.
На той половинке земли
Я был ожиданием счастлив.

РОДНАЯ РЕЧЬ

От счастья оробев, —
Сумею ли сберечь —
Как школьник, нараспев
Твержу родную речь,
Как школьник в сентябре,
Пронзённый новизной,
Как птицы на заре,
Согласные со мной.
Причудлив путь корней,
Ведь ими вскормлен вихрь.
Что может быть родней
Созвучий корневых?
Причастья сладкий груз,
В стене сиротства брешь,
Пленительный союз,
Родительный падеж...
В спиралях часа пик,

В кругу случайных встреч,
Как верный ученик,
Твержу прямую речь:
Глагола колыбель,
Наречья отчий дом,
Тебе, одной тебе —
В склонении любом.
Моей любви залог,
Моей вины рубеж.
Страдательный залог,
Винительный падеж.

Я устал от утрат и забот,
Лживых фраз и торжественных жестов,
Никаких не хочу происшествий,
Слышишь, доченька, липа цветёт.

Созревает ли в завязи плод,
Извергает ли пламя порода,
Суеты не выносит природа,
Слышишь, доченька, липа цветёт.

Отчего ж что ни день, что ни год,
Код природы в себе изменяем,
Безоглядно себе изменяем,
Слушай, доченька, липа цветёт.

Может быть и тебя обоймёт
Гул пчелиный и запах медовый.
Молчаливо — испортишь и словом —
Слушай, доченька, липа цветёт.

Погружайся в блаженный полёт,
Счастье — выплывем, счастье — утонем.
Прислонившись щекою к ладони,
Слушай, доченька, липа цветёт.

Замшелы каменные истуканы,
Но жив седой и расторопный леший.
Какая проза: говорить стихами
О самом наболевшем.

Какая проза: изощряться в рифмах,
Вгонять в размер тоску своих лишений,
Какая проза: пользоваться грифом
«Секретно, но несовершенно».

Всё чаще ломка. И всё круче доза.
И муза с каждым годом всё капризней.
Всю жизнь писать стихи: какая проза.
Но это проза жизни.

УРИЙ

Сошла почти на нет вечерняя заря,
Кровав последний блик на золоте чертога,
Я понял с первых слов лукавого царя,
Которого любил и почитал, как Бога.
Царь думал: Урий глух. Царь думал: Урий слеп.
Царь думал: Урий прост, и жизнь его прекрасна.
Я не войду в свой дом. Я не вкушу свой хлеб.
Я больше не возьму жены на ложе страстном.
Да, он герой и царь, провидец и поэт,
Строитель и мудрец. Но ты ведь помнишь, Боже,
Что в жизни для меня страшнее пытки нет,
Чем знать, что кто-нибудь её коснулся кожи.
Пусть мне не пасть в бою. Пусть мне не быть в раю.
Пусть буду жалкий раб, а не отважный витязь,
Но если выбирать, я дам отсечь свою,
Чем на плече её чужую кисть увидеть.
Пусть я курчав, как негр. Пусть я упряма, как бык.
Пусть я зеленоглаз, как распоследний грешник.
Но светят только мне две сероголубых
Звезды в сплошной ночи её волос кромешных.

Да, слишком часто меч сверкал в моей руке,
И часто разум я терял в бою от гнева,
Но я один плыву по голубой реке —
По жилке на груди её...любимой...левой...
Как сладко на войне мне снился этот дом —
Вот мы опять вдвоём... вот мы уже простились...
Сплю на сырой земле, обласканный царём,
Шпионы из дворца всюду засуетились.
Нет, будь и впредь, мой царь, попрежнему велик,
Спасибо за вино и щедрые награды,
Но лучше обойтись без вычурных интриг,
Мне станет смерть в бою действительно отрадой.
Сам выберу свой день. Сам изберу свой путь.
Сам в сече обрету себе врага по росту.
Когда в её глаза я не могу взглянуть,
Зачем мне видеть свет и утренние звёзды.



НОЧЬ НЕВЕСТЫ

Я судорожно завернула кран и уставилась на дверь, напряженно прислушиваясь. За дверью стояла тишина. «Послышалось» — подумала я, но как только хотела опять открыть воду, раздался второй звонок. Я выскочила из ванной и побежала открывать, на ходу торопливо запахивая халат. Странно — с моей звериной интуицией в этот момент я не почувствовала ничего — абсолютно ничего. Даже когда держала телеграмму в руке, даже когда читала первые слова: «прости тчк прости тчк тысячу раз прости тчк я встретил...» Чушь какая-то... «Девушка, это не мне...» — «Вам, вам... Вы распишитесь, а потом разбирайтесь — мне еще...» И то дело. Так, ну-ну: «прости тчк прости...» — ну, это я уже... А, вот: «я встретил ее тчк знаю зпт какую боль...» Что за бардак! — это вообще кто пишет-то? Так... Ммммм... Ага, вот: «Илья тчк» Какой еще?.. Ах, ну да... Что-то я совсем уж... Так он же в командировке. Ну вот он и пишет из командировки... Не, что-то я не соображу — надо прочитать внимательно: «прости тчк прости тчк тысячу раз...»

На меня нашло какое-то оупение — я сидела на тумбочке в коридоре и не то что не была убита горем — собственно говоря, и огорчения-то особого не испытывала. Это было странное чувство — я видела себя будто со стороны, причем не отчетливо, а как сквозь какой-то мутный кисель. Вот сидит она, за неделю до венца брошенная (обидно, конечно, кто ж спорит), читает в который раз желтую бумажку и дует на ногти на пальцах левой руки. Кстати! — чего это она дует? В ванной собиралась, правда, накрасить, даже достала пузырек с лаком, но не успела ведь — вот балда! А, перестала — ну то-то же...

Медленно поднялась и идет в спальню, садится на кровать. Взгляд падает на висящее на двери подвенечное платье. Еще так недавно — вопреки обычаям и приметам (вот оно!) — выбирали его вместе. Глаза наполняются... Не, это я поторопилась — ничем у меня ничего не наполняется. А может, я ненормальная? Нет, ну серьезно — поплакать-то полагается в такой ситуации. А мне не плачется. Просто на душе так мерзко, так пусто, что и передать нельзя.

Я встала с кровати и начала одеваться. Уже одевшись, стоя пе-

ред зеркалом в прихожей, я поняла, что не знаю, куда я, собственно говоря, направляюсь. Нет, ну куда-то же я хотела идти... Суббота — значит, не на работу. В магазин. Только за чем? Ладно, по дороге вспомню — все равно не могу здесь оставаться.

В магазине я купила спички и зачем-то крем для рук и, уже выходя, обнаружила, что у меня только одна перчатка. Пока я тупо ее разглядывала, вспоминая, брала ли я вторую вообще, сзади подошел какой-то хмыренок, и улыбаясь, протянул мне мою перчатку. А что за улыбка! В ней, должно быть, светятся благородство и мужественность, таинственность и щедрость спасителя. В моих же глазах светилось, наверное, только собачье одиночество, потому что хмыренок тут же предложил познакомиться. И тут опять это странное, испытанное уже сегодня — я вижу себя как в кино и не только не пытаюсь как-то воздействовать на происходящее — мне не очень-то интересно, что там, на экране происходит. Кино скучное, бестолковое, бесконечное, оператор и монтажер пьяны, я временами засыпаю, все крутится вхолостую, просыпаюсь — та же тягомотина...

Вот они садятся в автобус, причем он (не перевелись еще кавалеры!) помогает даме зайти, втаскивая ее за собой. Они едут на день рожденья (ну, естественно!) к «одному другу, только по дороге надо что-то купить, чтоб не на халяву...» Вышли где-то на окраине, купили бутылку водки, идут через парк, и — вот хорошая режиссерская находка — сели на скамейку («что-то стало холодать, не пора ли нам ...одеться! Ха-ха-ха» — балагур и весельчак) и под гипсовой статуей красавца лося пьют по очереди из горла, и все это в кругу света и идет легкий снег.

Наконец пришли, но видно не вовремя — празднество или уже кончилось или еще не начиналось. Их проводят в зал, где на диване перед телевизором сидят носатая девочка и толстый мужчина в майке. Девочка смотрит с нескрываемым любопытством (Юрка с невестой пришел), мужчина же любопытства не показывает и вообще старается держаться корректно — вышел и через пару минут вернулся в рубашке. Невесту усаживают в кресло, сдвигаются две табуретки и прет застолье, причем именинник и тамада меняются ролями — хозяин то и дело ударяет хмыренка по спине и кричит: «Юрок — вот такой мужик!» «Мужик» опускает глаза долу и скромно улыбается. Все пьют, и после каждой стопки Юрок едко замечает: «Ой, мама, шика дам, шика дам...»

Невеста накормлена и ее оставляют одну («Подожди, мы щас...»)

— мужчины удаляются на переговоры. Вот тут я наверное отключилась и потеряла нить повествования, но видимо переговоры закончились победой дипломатии, потому что включилась я уже в какой-то другой комнате — он копошится, она отказывается. Потом он, насупившись, начинает перечислять причины, а она ужасно хочет спать и говорит, что завтра позвонит. Он не очень-то верит, но доволен, что последнее слово остается за ним, и осторожно требует залог будущих встреч («Свет, ну не могу ж я тебя просто так отпустить...»). Дельно. Она лезет в сумку и нашаривает там крем для рук. Он снисходительно улыбается и качает головой: «Свет, ну или ты — простая, или я — простой...» Господи, как хочется спать! Ну, что тогда? «Тогда возьмите эти подвески. Зачем вы считаете, милорд? Их ровно двенад...» Ой, сорри, сорри — это что-то из другого... Так, где я остановилась? Ага, вот — ...хочется спать! Ну, что тогда? Это подойдет? «Ух ты! А золотое?» Золотое, золотое...

Потом он провожает ее на остановку и даже садится с ней в автобус, правда с нарочитой небрежностью просит за него заплатить, так как кошелек оставил у Лехи. И вот еще один милый кадр — не знаю, веет с экрана какой-то ностальгией — теплый, тускло освещенный салон автобуса, народу немного и на заднем сиденье сидят парень с девушкой, причем ее голова покоится у него на плече. Она спит. Но через пару остановок ему выходить: «О! Вот я и почти дома!» (таким образом, из двух наших героев именно героиня оказывается провожающей), и уже из дверей он предупреждает, что знает ее домашний адрес (в самом деле — вдруг кольцо фальшивое — в наше время на всякую можно нарваться...) Но девушка уже почти не слышит его...

«...абсолютно не поклонник. Но даже я не могу не заметить его роста. Знаешь, когда он начинал, он и наружностью своей и движениями ужасно напоминал мне ммм... ну, из Питера... Корнелюка! А сейчас...» Так, это я где? Буфет на вокзале, кажется... О! Значит, двигаюсь я медленно, но верно — на вокзале я собиралась пересаживаться. Только как я сюда-то попала? «...и я бы не стал относить это только на счет влияния Аллы Борисовны. Вот у Николаева же никак не выходит сделать из своей Наташки что-нибудь пристойное. Ведь верно?» А? Это он мне что-ли? Это вообще кто такой? Я изо всех сил стараюсь не дать упасть векам и сфокусировать взгляд на лохматом парне, сидящем напротив, который все

время норовит уплыть куда-то в сторону вместе со столом, зданием вокзала и всей существующей вне меня реальностью. Я, икая, киваю и парень удовлетворенно продолжает сей диалог, предоставляя мне, таким образом время для ознакомления с новой ситуацией.

Помимо меня и моего собеседника за столом находятся еще один молодой человек и две девушки — они молчат и потому я не могу еще решить — относятся они к нам или сидят сами по себе. Ответ приходит быстро — одна из девушек поворачивается ко мне и полувопросительно-полуутвердительно говорит: «Так... Ну, я, наверное, еще пивка...» Я опять покладисто киваю и только собираюсь на минутку отключиться, чтобы отдохнуть от обилия свалившейся информации, как замечаю, что девушка, протянув ко мне руку ладонью вверх, смотрит на меня с легким недоумением. Ах, вот оно что! Значит, сегодня гуляем на мои. Ну, это ли потеря... Я достаю кошелек, вынимаю оттуда какую-то купюру и отдаю ее девушке. «Ого! Тогда я лучше винца на всех?..» — обращается она к остальным, и, получив согласие, убегает.

«...и ты себе представить не можешь всех подводных камней шоу-бизнеса...» — опять идет в атаку интеллектуальный нападающий этой команды, — «ты думаешь, они там все так поют себе честно», — парень снисходительно ухмыляется моей серости, — «вот тот же твой Кир...» «О! — кричит вторая девушка, — то — ее кир, а вот и наш кир!» К нам подходит ухидившая за вином и выставляет на стол несколько бутылок, которые тут же открываются, причем дамам вручается по «Баунти». Я отодвигаю свой стакан — во-первых — в меня больше не лезет, а во-вторых — надо же как-то двигаться к дому... Но оказалось — сижу я плотно. Парень не отпускает так легко заглотившую его крючок добычу: «Нет, ну согласись — если даже смотреть на это с точки зрения простого обывателя...» Я смотрю на свой стакан с точки зрения простого обывателя и вдруг вспоминаю первопричину моего нахождения здесь, мне становится так невыносимо тоскливо, что я чувствую — еще секунда и тоска разорвет сердце изнутри, если я ничем не заглушу ее. Я беру стакан и залпом выпиваю, обходясь даже без «Баунти», хотя где-то на краю сознания машет руками, стараясь привлечь к себе внимание, моя подружка Маринка: «Понижение градуса — худшее преступление против своего организма!»

Тоска моя хоть не становится меньше, она, по крайней мере, опять переселяется в ту — на экране, и я, предоставив ее самой се-

бе, могу опять отвлечься и спокойно посозерцать. Но что-то мешает мне — что-то свербит постоянно в душе, как когда-то в школе, когда решение задачи уже почти найдено, ответ прогуливается уже где-то по окраинам мозга, но ты говоришь себе: «Нет, не решить — слишком сложно», и убираешь в стол, чтобы даже не попадалось на глаза, но долго потом это мешает тебе и отвлекает и дразнит. И вдруг что-то шевельнется и поплывет, уже помимо твоей воли: то, что ты долго уже знала, обретает, наконец, силу и форму, и выплывает из глубин подсознания... Маринка... Маринка? Маринка! «Прости тчк прости тчк тысячу раз прости тчк я встретил ее...» Ведь я знала это, знала всегда, что ж я гнала от себя все эти явные доказательства? Мы с Ильей за два года знакомства ссорились три раза и все (все!) три раза — по вине Маринки. Первый раз — когда она навязала мне своего приехавшего с Байкала родственника (надо было потаскать его по городу) и Илья увидел нас вместе. Сцена ревности. Второй раз — год назад — ведь это она подбила меня на тот дебильный, дикий просто (я потом поняла) розыгрыш, стоивший ему карьеры, чуть ли не жизни. Еле простил: «Ну и шутки у тебя... Ладно — один-ноль...» И третий раз — совсем недавно — отмечали у меня всей компанией Женский день, Маринка ни с того ни с сего сорвалась: «Ой, Светик, мне пора — ты же знаешь, мама болеет...» А минут через двадцать Илья: «Малыш, я пойду, пожалуй. Мне завтра в четыре утра в аэропорту надо быть — клиент прилетает...» Я бы ни за что не доперла, но Сонька — вот голова!: «Что-то странно они один за другим смылись». А я ведь даже вначале не поверила, но все-равно спросила. И тут он как-то очень уж загорячился. Ну, слово за слово... Ну, да ладно — простили друг друга. А ведь и месяца не прошло... Враль несчастный.

Тут я обращаю внимание, что пока я вот так сидела и складывала два плюс два, там, на экране, произошли кое-какие изменения: ну, эта квелая барышня как сидела, так и сидит (чего ей сделается), но куда-то запропастилась остальная компания. Наша героиня растерянно оглядывается по сторонам и недоуменно пожимает плечами (а не приснились ли ей эти милые молодые люди? — таким образом, это было бы сновидение внутри сновидения, что, согласитесь, случается), но тут же замечает, что ее сумки тоже нет. В таких случаях обычно следует: «..хвать, туда-сюда...», но наша девица никаких «хвать» и «туда-сюда» предпринимать не стала, а с медлительной дотошностью осмотрела содержимое своих карма-

нов и обнаружила какой-то крем для рук, клочок бумаги с чьим-то телефоном и — слава богу — ключи.

Выйдя на улицу (свежий воздух вернул меня мне), я направляюсь к стоянке такси, но по дороге меня окликает частник. Мы с удивительной для него быстротой сходимся в цене (для меня она не имеет принципиального значения — денег-то все-равно никаких нет), я плюхаюсь на заднее сиденье и в который уж раз за эту ночь закрываю глаза. Где-то глубоко-глубоко тлеет надежда на дальний путь — пока-а мы доберемся отсюда до моего дома, прозвенит, глядишь, будильник и я проснусь в своей постели или Ильи — не так важно, главное — подальше от этой белиберды...

«...так чего ж ты такая пьяная, зайка моя...» — еще не открыв глаза, я понимаю — облом. Просыпаюсь я ни где-нибудь, а в той же самой машине, причем шофер сопит подозрительно близко и мне противно тепло от его дыхания. Я даю ему понять, что мне — на выход и он недоумевает: «Сама ж говоришь, денег нет» — «...кто — я говорю?» Он согласен вернуться на исходную точку: «Так значит что — есть?» — я на секунду задумываюсь и делаю неопределенный жест рукой: «Ну-у, вообще-то нет. Сейчас. Но завтра отдам». Он долго смотрит на меня невыразительным взглядом и соглашается: «О кей». Я удовлетворенно киваю (все-таки я умею разговаривать с людьми) и собираюсь выйти. Водила хмыкает: «А телефон не запишешь?» — и я понимаю, что он абсолютно прав — где ж я его завтра искать-то буду? Он пишет что-то на бумажке, сует ее мне в карман и тут (под конец все так испортить!) мы опять соскальзываем на тему залога. Я без особой надежды, просто чтобы что-то предложить, вынимаю крем для рук, он ухмыляется, я пожимаю плечами, он показывает на куртку, я ее снимаю, он предупреждает, что послезавтра ее продаст, я киваю, он открывает дверь, я выхожу, он уезжает.

Я вхожу, наконец, в свой подъезд и испуганно замираю — на первом этаже, прислонившись к двери моей бывшей подруги Маринки, спит какой-то мужик. Только я собираюсь прошмыгнуть мимо, он поднимает голову и я узнаю ее родственника с Байкала. «О! Привет! Слушай, такое дело — я тут нечаянно нагрянул, а их дома нет. Ты не знаешь, где они? А можно, я пересижу у тебя до утра? Или хотя бы вещи оставлю?» На это я могу ответить, что скорее всего они празднуют сейчас помолвку моей бывшей подруги и моего бывшего жениха и что у меня — не гостиница и не камера

хранения, но моя квартира — прямо над Маринкиной, и такая длинная фраза, учитывая мое теперешнее состояние, не поместится в один лестничный проем, поэтому я сухо и коротко бросаю: «Нет» и иду дальше. Родственник подобострастно улыбается, приняв сказанное, очевидно, за шутку, а я стою уже перед своей дверью и шарю по карманам. Так — я, конечно, пьяная, но не до такой же степени! Были! Точно помню, что были — я еще обрадовалась. А с вокзала я сразу домой. Или нет?.. Да нет — сразу на машину и сюда... Я тупо смотрю на дверь и, прислонившись к стене, медленно стекаю вниз — куртка! Я обшаривала карманы куртки. А сейчас я обшариваю джинсы. У меня нет сил ни смеяться ни плакать — я хочу спать и единственный способ оказаться сейчас в постели — байкальский родственник.

Я подхожу к перилам и спрашиваю: «Слушай, ты можешь на руках подтянуться?» Родственник пока ничего не понимает, но обрадованный продолжением нашего общения скоренько взбегает ко мне:

Куда подтянуться?

Ну чего ты вскочил-то? Сейчас опять спускаться. Надо на балкон залезть — ключей нет.

А это? — родственник показывает на мою руку.

Да нет, это крем. Для рук. Никто не берет.

А-а, — чтобы что-то сказать, говорит родственник.

Чего а-а? Полезешь или нет?

Попробую...

Мы выходим на улицу и он довольно ловко вскарабкивается с козырька подъезда на мой балкон.

А теперь что?

Что-что... Стекло разбивай...

...Когда через десять минут мы, убрав уже стекло, заделываем дыру всяким хламом, родственник говорит: «Вообще-то к тебе залезть — пара пустяков. Не боишься воров?» Я пожимаю плечами: «Да нет, не очень — я на сигнализации». Мы секунду ошарашенно смотрим друг на друга и в этот момент раздается звонок в дверь.

...Наконец милиционеры уходят и я могу идти спать, но перед этим надо повернуть одно дельце. Я усаживаю родственника на кухне, причем он пытается наладить беседу: «Знаешь, Пугачева с Кирко...» Я выхожу из кухни, отметив про себя, однако, что тема

Киркорова сегодня всплывает постоянно — может помер, мало ли... Но спрашивать лень. Я захожу в ванную, затыкаю слив раковины пробкой, пускаю воду и уже хочу выходить, но в дверном проеме возникает родственник: «Руки помыть... руки помыть...»

Мой на кухне.

Он смотрит на кран и обрадованно кричит:

А воду-то! Вода-то льется!..

Я, напирая, выталкиваю его и закрываю за собой дверь:

Так надо. Пусть льется.

Как это... А зачем?..

Они мне сказали цветы поливать. А ключей нет.

Родственник недоверчиво улыбается:

Да ты гонишь...

Значит так — или ты идешь на кухню, а я иду спать или...

Родственника осеняет: «Да ты же пьяная, пьяная...» — он, добродушно смеясь, дотрагивается до меня, и я, отпрянув и споткнувшись о тапочек, падаю. Вставать нет ни сил, ни желания и я ползу в спальню, причем ползание это — несмотря на сугубо хрущевские габариты моей квартиры — длиною в жизнь...

...Я просыпаюсь, когда в комнате стоит еще полумрак. Меня морозит, несмотря на то, что я в полном облачении, одежда липнет к телу, раскалывается голова, меня мутит, болит все. Я привстаю на кровати и вскрикиваю — в кресле дремлет Илья. Но тут же я вижу, что это — байкальский родственник, о котором я совсем забыла, почему-то раздетый и в банном халате Ильи — взял его, очевидно, с крючка в ванной. Я встаю с кровати и иду умываться.

Выйдя в прихожую, я наткнулась на какую-то пухлую взлохмаченную матрону со злым красным лицом и заплывшими со сна глазами, которая, впрочем, тут же убралась восвояси, как только я миновала зеркало. Видение это не прибавило мне бодрости духа и в ванную я ввалилась с настроением на абсолютном нуле.

Под ногами болотно чавкнул коврик. Я хотела было ругнуться матом на моего постояльца, который, очевидно, принимал душ (вся его одежда свалена на стиральной машине) и залил пол, но тут же вспоминаю, что мокрый половик — это последствия приведения в жизнь моего же плана мщения. Настроение мое устремляется куда-то в минус-бесконечность, потому что то, что вчера казалось мне логичным и справедливым возмездием, сегодня видится крайне дурацкой, нелепой, хулиганской выходкой. Маринкины родители, во всяком случае, здесь совсем не при чем. Судя по ко-

личеству воды на полу, пару пятен мои соседи, по крайней мере, получили, и постоянно повторяемая по телевизору (правда, по другому поводу) фраза — «...стоит ли волноваться из-за каких-то там пятен...» — меня совсем не успокаивает.

Я раздеваюсь, включаю воду, и, в ожидании пока она нагреется, критически рассматриваю себя в зеркало, автоматически похлопывая по ладони каким-то тубиком, взятым с подзеркальной полочки. Мне показалось, кто-то позвонил. «Маринкина мать» — проносится у меня в мозгу.

Я судорожно завернула кран и уставилась на дверь, напряженно прислушиваясь. За дверью стяла тишина. «Послышалось» — подумала я, но как только хотела опять открыть воду, раздался второй звонок. Я выскочила из ванной и побежала открывать, на ходу заворачиваясь в полотенце и надевая на лицо самое виноватое из всех известных мне выражений.

«...Один-один!, — оглушительно кричит стоящий на пороге Илья, — первое апреля никому не ве...» — он замолкает и я, проследив за направлением его взгляда, вижу байкальского родственника, выползающего из спальни в его халате. «Что это?» — ледяным тоном говорит Илья, указывая пальцем куда-то на мою руку. Я несколько секунд тупо рассматриваю предмет, лежащий у меня на ладони, и протягиваю Илье:

Крем для рук...



ЦЫГАНКА ГАДАЛА

Это было совсем недавно, зимой. На Ленинградском вокзале, когда я вернулся в Москву из еще непривычного для уха теперешнего Санкт-Петербурга.

— Молодой человек, — окликнула меня цыганка, — с тебя много не возьму.

— Отстань, я тебе не молодой. Я старик. К бабам ступай, а мне ты не нужна.

— Какой же ты старик? Ты юноша. Я по глазам вижу. Мы правду говорим. Ты не виноват. Ну, давай руку.

Не понимая сам зачем, протянул руку. Такая в них сила.

— Вот эта линия — река широкая. А как ее зовут — сам помнишь. А тут — узенькая, зовут Люлька.

— Нет такой реки, цыганка.

— Как же ты говоришь, нет... Люлька. И за этим холмиком — любовь. Ты ведь душою не забыл? Давай теперь денег побольше. Не жалей.

Я открыл бумажник. Она цепко ухватила почти все деньги и засмеялась:

— Что, вспомнил? Убивец, говно...

— Значит, что же было? — твердил я себе. — Что же тогда все-таки было?

В том дачном поселке, среди берез и сосен, наши юношеские души трясло нетерпением. Мы с утра торопливо глотали воздух того жаркого лета нашей вселенной. Мы были первыми людьми на земле, которым дарована жизнь. У нас даже не было имен, а только прозвища. Самым ловким из нас, конечно же, законно признавался Рыжий.

В центре вселенной существовали две девочки — Пшенка и Манка. Обе голубоглазые, беленькие. Манка — полная девочка, подружка, необходимая, конечно, для Пшенки, совершенной красавицы с длинной тяжелой косой. И что говорить — вся мальчишеская карусель вертелась вокруг Пшенки. Только вот еще чего — ближе всех Пшенка подпускала меня, а я старался показать, что мне почти безразлично. Несколько раз я торопливо целовал ее. И я теперь подозреваю — все, чтобы посмеяться над Рыжим.

— Рыжий, Рыжий, конопатый...

По высшему закону, его рука и ее рука — это не мой удел. Ночами он караулил Пшенку, замирал, когда смотрел на нее. И чем больше я понимал, что он один из нас, только он один любит, и он — законный, а я — чужой, тем больше я измывался над ним.

— Рыжий, Рыжий, конопатый...

Мы шли с ней рядом. И ничто не предвещало, что мир рухнет, исчезнет.

Он поджидал нас. В руке у него я увидел пистолет.

— Рыжий, у отца взял? — спросил я и засмеялся.

Отец его был крупный военный, который потом попал в немецкий плен, но погиб на Колыме.

Он молча направил пистолет на меня.

— Отойди, — тихо сказал Рыжий.

Я медлил. А Рыжий уже повернул на Пшенку. Мы были от него всего в двух шагах. Рыжий выстрелил. И когда Пшенка, даже не вскрикнув, упала, он выстрелил себе в голову.

Их хоронили в памятный день 22 июня. Собрался почти весь поселок: взрослые и дети. Повезли хоронить на Немецкое кладбище.

Сколько цветов, сколько цветов... С этих двух смертей для меня началась война.

А потом вся жизнь. Мой движок еще стучит. Живых друзей теперь почти не осталось. Одно слово — старик. «Какой же ты старик, ты юноша, я по глазам вижу».

Я пошел не в церковь, а поехал на Немецкое кладбище. Зима была снежной, но день промозглый — всюду сугробы, ноги едва вытащишь.

Руками я разгреб снег с могилы родителей. И низко поклонился. От холода и колючего снега руки мои сделались мучительно красными, не мог уже шевелить пальцами.

Я пошел искать могилу Пшенки и Рыжего.

Но снег был глубок. Я понял, что могилы мне не найти. Тогда я подошел к стене кладбища. В стене углубления. Окошечки для урн и фотографий. Из каждого окошечка глядели фотографии, лица — старые и совсем молодые. Я останавливался, всматривался. Когда я хотел увидеть? Просто я знал, что те, на фотографии, были когда-то живы. Пройдя всю стену, почти до выхода из кладбища, я вспомнил безымянную речку, тишину теплого света...

— Рыжий, Пшенка, — прошептал я. — Неужели вы счастливее меня?

Я не помнил, как вышел на задворки новостроек к этой безымянной реке под зимним небом.

Внизу — производственный мусор, засыпанный снегом. Я посмотрел вверх и в колокольной белесости неба ясно различил две кружащиеся багряные точки. Я слился с ними в сладостной свободе.

Время покинуло меня. Без исповеди моя душа оказалась в бесконечности, по ту сторону жизни.

— Рыжий, Пшенка, — прошептал я. — Неужели вы счастливее меня?

УРНЫ

Холодок раннего майского утра. Я вышел из здания вокзала в Новосибирске. Что меня поразило — с двух сторон входа в вокзал две бетонных урны для мусора. Розовые. Похожи на огромные вазы.

Я внутри себя чувствовал их пудовость и размеры. Каждая почти с человеческий рост. В узкой своей части урны были сдавлены стальным хомутиком. От хомутика тянулась крупнокольцовая стальная цепь. Цепи смертельно заанкерены стальным крюком к стене вокзала, залиты бетоном.

Четыре часа утра. Я глядел на белесое небо, апрель еще недавно дышал оттуда. Я перевел взгляд на урны. Безлюдно. Вдалеке слышались гудки маневренного паровоза.

Из дверей вокзала вышли два восточных человека. В черных шапках-ушанках и в стеганых, вишневого света халатах. Их халаты напоминали о весне, даже близости лета.

Один был высок, а другой недомерок. Я сначала думал, что отец и сын. Но у маленького было морщинистое лицо старика. Они уселись, поджав под себя ноги, у стены вокзала, положив на колени цепь. Неторопливо вытащили стальные пилки. Там, где рука обхватывала ножовочное полотно пилки, оно было завернуто в тряпку. Как-то ладно ухватили цепи и начали пилить.

Я подходил то к одному, то к другому. Полотно пилки было тонкое, солью врезалось в стальной позвонок кольца.

Из-под халатов торчали черные шаровары. Ноги были обуты в калоши.

— Ты туркмен? — спросил я высокого.

Он не ответил.

Тогда я подошел к маленькому:

— Зачем здесь пилишь? Надо у самой урны. Хомутик там тонкий.

Туркмен не отвечал.

А пилка ходила в его руках: жик-жик-жик.

— Ну, отпилишь, а дальше что?

— Барр... барр... — сказал маленький. Я сидел в камере с туркменом и немного понимал. — Иди, иди отсюда.

— С закладом попадетесь, — предупредил я.

Маленький смотрел мимо меня. И я тоже смотрел туда же, мимо.

Вся степь горела красными и желтыми тюльпанами, маками, су-репкой.

Время тянулось.

Я увидел, что к кустарникам гребенчука с розовыми цветочками, ближе к воде, шли с пастухом верблюды.

И, как песню, маленький запел, загибая пальцы, считая верблюдов:

— Бир, ики, уюч, дерт, бяш...

Взял в другую руку пилку и продолжал, не забывая водить по кольцу:

— Алты, еды, текис...

Вокзал ожил, загомонил. Люди выходили, не обращая внимания на туркменов. К первому пути подошел поезд. Народ с чемоданами, тюками потянуло к вокзалу.

А туркмены вместе со мной смотрели на красно-желтый ковер тюльпанов.

Я обо всем забыл. «Кто мне что должен — прощаю», — думал я. Но потом завоняло гнилой картошкой, вокзалом, нарами, парашей.

Вдруг в глубине вокзала вспыхнул громкий девичий голос:

Люди рожь вывозить —
Зачали девки родить,
Коя двойни, коя тройни,
Коя четверни.
А Прасковья удала
Семерых вдруг родила.

И смех и притоптывания.

Туркмены почти одновременно кончили лапшить. Подергали цепь.

Сильнее и сильнее...

Урны закачались и вдруг медленно поднялись, поплыли в небо.

Туркмены смотрели им вслед. И маленький и большой вскочили, пытаясь ухватить стальные хвосты цепей. Но где там... И оба зарыдали, глядя руками лицо:

— О, мен самсык — я дурак.

— О, мен хайван — я осел.

Согнулись, будто тащили пудовые урны, захлопнулись дверями вокзала.

Поезд отошел. Перед вокзалом опять стало безлюдно.

А в белесом небе надо мной не очень и высоко кружились урны с обрывками цепей. Потом они разом перевернулись, на привокзальный асфальт посыпался мусор, окурки, куски газет.

И, облегченные, урны поднимались все выше и выше, пока не слились с белесым потеплевшим небом.

Незаметно рядом со мной оказался мужик без шапки, в телогрейке, за спиной мешок.

Снял мешок, развязал веревочный узел и стал собирать газеты, окурки. И ко мне:

— Вишь, и торбочка сгодилась.

Из газетной бумаги быстро скрутил козью ножку, провел для прочности языком.

— Огонек е?

Я дал ему спички.

— Чего не собираешь? Ладно, я тебе оставляю.

Мы с ним сели на ступеньки у двери вокзала.

— Да, хорошо, — вздохнул мужик.

Лицо у него заросло густой седой бородой, а волосы без единой сединки — вот что удивительно.

Он мне дал докурить. Дым приятно скреб мое выстуженное горло.

— Вот он издох, а мы все на печном столбе стоим. Нет, из-за крутого берега нам еще долго выбираться.

Я докурил, обжигая губы, бросил.

— Ничего, как-нибудь.

Мы увидели, как прямо через пути к вокзалу шли цыгане — старые, молодые и совсем малые дети. Женщины в пестрых платьях

несли за спиной совсем маленьких. А чуть постарше — шли босые, перескакивая через рельсы. Играли.

— Всем своим табором на вокзал, — сказал мужик. — Такая у них природная хударьба. Их Господь последних к себе призовет. Особо. Сперва все народы и племена, а уж они в конце, со своими бубнами и гитарами.

— Это почему?

— Для веселья.

— А может, мы еще как-нибудь скрутимся, перевернемся и вывернемся, — опять завел я, когда цыгане скрылись в вокзале.

— Может и так, — не стал спорить мужик.

Он встал, пошел в сторону от вокзала.

Налетевший ветер крутил перед вокзалом газетные бумажки, окурки и всякий прочий мусор.



Сергей ВИКМАН

В провинции где ветер среди крыш
Несет по кругу вялую листву
Где у моста качается камыш
Припоминая пришлую литву
Где среди лип теряясь фонари
Раскачивают стоптанный асфальт
И где домов потертые лари
Под крышами хранят осипший алыт
В провинции где осень и весна
Ведут по кругу наше царство Лу
Так трудно не сойти с ума
Прижав лицо к размытому стеклу

У заставы Шигуань
сосны сонные стоят
как и много лет назад
гуси к северу летят
за заставу Шигуань
каждый год они туда
улетают навсегда
пропадая без следа
за заставой Шигуань
только тени на окне
проплывают при луне
над заставой Шигуань
исчезая вдалеке

Пляж святого Петра
Побережье немецкого моря
Где сливается с небом песок вдалеке
И свинцом отликает вода

Где лишь волны едва
Отмывают на небе кусок
Где случаен и краток
Миг для наших следов на песке
И в руке замирает рука
Сохраняя нам иллюзию прежней любви
Где блуждает теряясь в дали
Одинокий красно-белый маяк
Где мы тоже никак
Не отыщим потери свои
На полоске в свинец погруженной земли
Где когда-то от рая ключи
Петр в море немецкое бросил
И прощенья за это у Бога просил

На Кантплац набрасывает снег
Чужого неба рваная кошелка
А на глазах твоих намокла челка
И стынет череда закутанных калек
Модерн и декаданс которых
Под снегом делается строже и ясней
И оторваться с каждым днем трудней
От фонарей и окон слишком квелых
От зимней ткани угловатых крыш
От снегом в ночь стекающего дня
И от того что любишь ты меня
А где-то спит несбывшийся Париж

Здесь лето раньше наступает
И осень позже настает
И улица почти не замечает
Светилом повторяемый гавот
И исчезают также незамечено
В деревьях осени следы
И кем-то где-то предназначено

Что будем делать я и ты
Чем ты и я займемся этим летом
И кто приедет к нам весной
Что мы зимой узнаем по приметам
И как мы осень проживем с тобой

Про что опять опять про осень
про серый дождь про грязь и слякоть
и неба рваная котомка
начнет опять стонать и плакать
опять источенные прутья
кругами будут собираться
у фонарей в рябые лужи
устало будут окунаться
заборов темные разводы
на землю лягут стылой тенью
сопротивление движенью
все время будет ощущаться
и ветер будет поминать
опять про осень и опять

Я живу на улице некого Тика
Он поэт был надеюсь и злостный охальник
Генриетта Катрин Анжелика
Чередуюсь я верю носили ему умывальник
Он наверно отчаянным бабником был
И любил заглянуть за девичий корсаж
Только здешних блондинок не очень любил
Даже после пивной ощущая кураж
Хорошо бы он к черненьким или же к рыжим
Был бы девочкам склонен и вовсе не раз
Город тот и ему представлялся Парижем
В зимний пьяный полуночный час

Виталий ШНАЙДЕР

КОМЕТА

Комета — предвестница грозных событий,
Горящий свой хвост распростерла в ночи, —
Ниспосланный Роком основ разрушитель
Крылатому воинству знамя вручил.

Грядущего хаоса верные слуги,
Промчатся они, словно смерч, над землей.
В ночной тишине слышу трубные звуки
И цокот копыт их коней громовой.

ВИДЕНИЕ

Иду в толпе, не различая лиц,
Не отражаясь ни в одной витрине,
По городу иду, как по пустыне,
Путь освещают всполохи зарниц.

Белеет храм, здесь опускаюсь ниц.
Недвижимый лежу в грязи и глине,
И слезы жгут глаза, и сердце стынет,
А в небе грохот тысяч колесниц.

Разверзлась твердь и столб огня ударил.
Земля пылает, всюду запах гари,
Лишь храм стоит, как прежде нерушим,

Златой свой купол вознеся высоко.
Засыпан пеплом, я в грязи пред ним
Лежу в оцепенении глубоком.

Н. К.

Нести свой крест, хрипя и стиснув зубы,
До дней последних мы обречены,

Тяжелый крест из древесины грубой,
Не взроптав, не разогнув спины.

Плюют в лицо, швыряют камни в темя.
На ребрах мясо сбито до кости.
Сколь ни целебно, не излечит время
Того, кто обречен свой крест нести.

Мир за окном — цветное полотно.
На нем дома, деревья, люди, птицы.
Поток автомобилей с ревом мчится.
По снегу такса семенит смешно.

В полтретьего уже полутемно.
Я закрываю книжную страницу
Про журавля, что в небе, и синицу
В чужих руках иль в клетке? Все равно.

Как Соловей-разбойник чайник свищет.
Иду на кухню, ведь духовной пищей
Желудок не наполнить, сколь ни ешь.

И подступает скучный зимний вечер,
И нечем залатать в бюджете брешь,
И плачет горько, как ребенок, ветер.

ТАК ЗДЕСЬ ВСЕГДА

И так всегда здесь — эти их красные рожи в подъезде —
Погромщиков слободских и мясников Охотного ряда.
Средь шума большого города, а особо — в предместье.
В полуденный липкий зной и под шорох сухой листопада

Поспешно продравшись через ряд их гадливых ухмылок,
Я чувствую себя совсем никому не нужным и лишним.
И странный запах всегда здесь — трески и прелых опилок.
И чье-то сморщенное лицо в окне на этаже нижнем.

Душа мертва. Утихла боль тупая.
Вползает, корчась, в комнату рассвет.
Дождь бьется об асфальт, с него смывая
В числе других мой одинокий след.

Я мокрый плащ повесил в коридоре,
Войдя в свой дом, который потерял.
Душа мертва и не саднит от горя,
И дальний путь лежит через вокзал.

Вокзальный сумрак. Вечное мельканье
Лиц незнакомых, грохот поездов.
И миг неотвратимый расставанья
Приблизился, перехватил дыханье,
Вбивая в глотку рвань прощальных слов.

ЖАЖДА ШТОРМА

А он, мятежный, ищет бури...

М. Ю. Лермонтов

Спасенья нет от этих Вечных бабок.
Они, увы, не кормят голубей
И не гуляют в парке, где так сладок
Прозрачный воздух в глубине аллей.

О нет, они из сумрака квартиры
Следят за всем, творящимся вокруг.
Уверен, точки нет на Карте мира,
Свободной от назойливых старух.

Вот я сижу один в пустой квартире,
Едва дыша, как мышь в чужом углу,
Боюсь и воду слить в своем сортире,
И хлипкой доской скрипнуть на полу.

Перечитал недавно книгу Хармса:
Там пачками старухи из окон

Вниз выпадают — торжество баланса
Над хаосом... плюс пышность похорон.

Хармс хулиган, а если без фантазий,
За это схлопотать здесь можно срок.
И, стиснув зубы, нужно ждать okazji —
Вдруг рухнет на старушку потолок

Иль наводнение подойдет лихое
И смоеет разом старых гарпий сонм.
Устроит шторм, тайфун вполне устроит,
Я жду, я ожидание сплошное,
Как будто в ожиданьях есть резон.

УПРЕК

Заскорузла душа, занемела.
Опрокинулось зренье во тьму.
Измытарено брэнное тело,
и пришло помраченье уму.

Оглянешься назад — лишь руины,
и во тьме не забрезжит просвет.
Жизнь кончается явкой с повинной.
Поднебесный высок кабинет.

Но тебя там не ждут, не надейся.
Пётр не вынесет ключ от ворот.
Равнодушьем клеймен и злодейством —
от тебя мертвечиной несет.

Прожигать с «беспечального детства»
Начал жизнь — и весьма преуспел.
Промотал в дым чужое наследство.
Проиграл все, профукал, проел...

Заскорузла душа, зачерствела
и, предчувствуя вечную тьму,
плачет тихо, что ввысь не взлетела,
не познала небес синеву.

Андрей КОЛЕСНИКОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧУБАЙС

Книжку, отрывок из которой мы публикуем, можно назвать не только так, как это сделал ее автор, — «Неизвестный Чубайс», но и по-другому — «Апология Чубайса». Да, автор относится к числу сторонников и поклонников знаменитого государственного деятеля новой России. И, возможно, немало наших читателей не разделяют позиции Андрея Колесникова, видят и оценивают события новейшей истории России, связанные с именем Анатолия Чубайса, по-другому. Тем не менее многое из того, о чем пишет автор, отрицать невозможно, а увидеть личность реформатора глазами этого автора интересно и поучительно.

ОДИНОЧЕСТВО РЕФОРМАТОРА

Осенью 1991 года во время прогулки по Архангельскому Егор Гайдар предложил Чубайсу возглавить приватизационное ведомство. «Ты понимаешь, что независимо от результата меня будут ненавидеть всю оставшуюся жизнь, потому что я буду человеком, который продал Россию и продал неправильно?» — задался вопросом будущий министр и вице-премьер, затравленно посмотрев на собеседника и друга. Вопрос, разумеется, был риторическим. А сомнений в том, что Чубайс не откажется от ответственности, у Гайдара не было.

Чубайс не просто делал буржуазную революцию, кстати, практически бескровную. Он ежедневно делал Историю.

В нем вообще много от жесткого советского руководителя, даже от «сталинского наркома». Легко представить себе, как он управлял бы той же электроэнергетикой в годы индустриализации, «проходя путь» от директора электростанции до руководителя отрасли. Незаменимых нет, но такого бросали бы на самые трудные участки: кризис — это естественная среда для Чубайса.

Анатолий Борисович умеет быть и жестким, и мягким, бывает и флегматичным, и разъяренным. Журналисты знают, каким феерическим остроумием обладает этот внешне неулыбчивый человек со стальным взглядом. Шкала разговора с ним «гуляет» от модели кухонного интеллигентского диалога до беседы по линии: начальник — подчиненный. Сочетание интеллигентности и жесткости, бульдозерной пробивной силы и глубоких экспертных знаний и дает победу практически во всех начинаниях.

Надо понимать, что мы имеем дело с продуктом разных эпох.

Человек, родившийся в идеологизированной ортодоксальной советской семье в ранние послесталинские годы, в период советской истории, названный Ильей Эренбургом «оттепелью», сформировавшийся в конце 1960-х годов под аккомпанемент яростных споров диссидентствующего старшего брата и преданного делу коммунизма отца, жилец питерской коммуналки, рано вступивший в партию и избравший академическую карьеру, во всем докапывался до истины. И обретя однажды собственную точку зрения, он отстаивает ее до конца. Кажется, единственное дело, которое ему не дали завершить, — это создание свободной экономической зоны в Ленинграде. Да и то произошло это по причине наступления форсмажорных обстоятельств — вся социалистическая «зона» в одночасье начала превращаться в гигантскую территорию экономической свободы. И нужда в островке рыночной экономики в отдельно взятом городе отпала сама собой.

Секрет политического и менеджерского долголетия Чубайса — в его способности соответствовать времени, не выпадать из него. Он был успешен всегда — и в советские годы, когда молодого доцента, уже в институте ставшего кандидатом в члены партии, охотно принимали в обкоме, а он конвертировал свои связи в возможность легально проводить по сути своей нелегальные научные семинары. И потом, когда в годы перестройки стал невероятно популярным и влиятельным питерским публичным политиком. И впоследствии, когда решал задачи приватизации, финансовой стабилизации, выборов-1996, реформы электроэнергетики.

Каждый человек имеет право на то, чтобы выпасть из времени, отстать от него, отказаться поспевать за ним. У Чубайса, когда-то типичного интеллигента-восьмидесятника, любителя байдарочных походов и страстного поклонника Астафьева, Высоцкого, Окуджавы, уже вряд ли появится право на эту человеческую, очень человеческую роскошь. Потому что когда-то он, несмотря на то, что считал себя ученым и более никем, отказался от комфортной роли стороннего наблюдателя из экономической лаборатории и предпочел наблюдение включенное. Ощущение, описываемое формулой «если не я, то кто же», в случае с Чубайсом гипертрофировано.

Наш герой очень одинокий человек. В той степени, в какой может быть одинок реформатор, ставящий перед собой задачи, которые может решить только он. Это не апология. Это — констатация.

БЕСПРОБЛЕМНЫЙ РЕБЕНОК

Анатолий Чубайс родился 16 июня 1955 года в городе Борисове Белорусской ССР. В первый класс пошел в Одессе, а заканчивал его уже во Львове, откуда семья уехала в Питер спустя несколько лет, в середине 60-х годов.

Чубайс рос бесппроблемным ребенком и любящим сыном. Правильный школьник вырос в трудоголика-студента, который отказывался понимать, почему он летом должен отдыхать, и потому неизменно устраивался или на какую-нибудь работу, или в стройотряд. С годами трудоголизм превратился в хроническую болезнь, но очень пригодился в годы реформ, когда работа прерывалась только на сон. А сон у вице-преьера был «короток и тревожен»

Он поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ), на машиностроительный факультет.

Считалось, что экономику в инженерно-экономическом преподавали хуже, чем в Ленинградском финансово-экономическом институте имени Н. Вознесенского, откуда вышла основная часть самых ярких представителей команды Чубайса.

Анатолий Борисович считает, что в институте он «чудовищно бездарно провел время». При этом учился легко, но, в основном, в сессию, когда подготовка шла по 14 часов в сутки.

Не будучи комсомольским активистом, Чубайс рано стал кандидатом в члены партии — еще на пятом курсе, а затем, в 1977-м, сразу после получения высшего образования, — и членом КПСС. Закончив вуз по специальности экономика и организация машиностроительного производства, он продолжил карьеру в том же институте, готовил диссертацию, жил нормальной аспирантской жизнью, отличаясь от сверстников, быть может, только большим научным рвением и добросовестностью. Это, в свою очередь, выливалось в ежедневное посещение Ленинградской публичной библиотеки, которую он покидал только после звонка, возвещавшего закрытие, в 21.45, и отправлялся домой пешком.

«Иногда вместо того, чтобы готовить диссертацию, я читал поэтов Серебряного века, причем меня интересовала не столько поэтическая и философская стороны их творчества, сколько мировоззренческо-политическая», — вспоминает впоследствии Чубайс.

ПОД ЛЕГАЛЬНОЙ КРЫШЕЙ

«Большой взрыв» с далеко идущими последствиями произошел осенью 1979 года, когда Чубайс познакомился «на картошке» с такими же, как он, научными сотрудниками — математиком Юрием Ярмагаевым из Финансово-экономического института и экономистом Григорием Глазковым из ЛИЭИ. Осенние картофельные «упражнения» в совхозе «Бор» были лучшим способом приобрести новых друзей и обсуждать запретные сюжеты без соучастия компетентных органов.

7 октября, в День новой советской Конституции, принятой двумя годами раньше, в жуткую погоду три молодых человека отвлеклись от сельскохозяйственных практических занятий на теоретические экономические.

Самый младший в этой компании, 24-летний Чубайс, работавший в научно-исследовательском секторе ЛИЭИ, оказался среди них самым ортодоксальным советским экономистом, хотя и весьма пытливым, жадно докапывавшимся до самой сути проблем.

Поиски истины привели к созданию маленького кружка экономистов. Коллеги написали совместную статью, которая в 1982 году была издана в бледно-сером межвузовском сборнике научных трудов.

Никакие плановые показатели, считали авторы статьи, не помогут оценить платежеспособный спрос. Критерии способен выработать только рынок, единственный инструмент оценки — прибыль.

Именно тогда обнаружился особый талант Чубайса прикрывать абсолютно запретные занятия легальными «крышами». В этом смысле характерно совершенно советское название его диссертации, которую он защитил в 1983 году: «Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях». В таком диком нагромождении — «планирование совершенствования управления» — в духе постановлений ЦК и Совмина и было лучшее прикрытие реальной работы.

СЕМЬЯ

С 1979 года Анатолий Чубайс с женой Людмилой жил в безразмерной коммуналке в 14-метровой комнате с почти четырёхметро-

вой высоты потолками на четвертом этаже старого огромного бывшего доходного дома на улице Салтыкова-Щедрина, ныне Кирочной.

Именно здесь молодая семья и растила детей. Старший, Алексей, родился в 1980 году, дочь Оля — в 1983-м. Семья стояла в очереди на квартиру с 80-го года, но так и не дождалась своего звездного часа. Отсюда Людмила Ивановна и дети уехали только в 1994 году, когда Чубайс уже являлся вице-премьером и четыре года был женат на Марии Давыдовне Вишневской.

Комната, полученная в результате разъезда с родителями, была не лучшим местом не только для научных занятий, общения с коллегами и гостями, но и просто для жизни. И то, и другое, и третье происходило здесь весьма интенсивно, однако в рамках общего бюджета молодых родителей — 95 плюс 95 рублей.

В силу своей загруженности научными и преподавательскими обязанностями Анатолий Борисович не слишком много внимания уделял детям («Отец в нем проснулся только тогда, когда дочке исполнился год», — говорит Людмила Чубайс.), зато был весьма «рукастым» молодым человеком, поэтому небольшое жизненное пространство комнаты оказалось более или менее рационально организовано.

Все эти годы Чубайсы были центром разнообразной и многолюдной компании. И даже ныне непримиримый оппонент Анатолия Чубайса Андрей Илларионов, на дух не перенося главу РАО «ЕЭС России», до сих пор, как говорят, вспоминает пирожки, приготовленные Людмилой Чубайс, недавно усовершенствовавшей свою кулинарную практику и открывшей в Питере весьма изысканный ресторан русской кухни «Мечта Молоховец».

Чубайс был вполне типичным представителем советской технической интеллигенции со всеми присущими ей увлечениями и пристрастиями. Байдарочные и туристические походы, «Битлз», «Машина времени», Высоцкий, Окуджава, «деревенская проза».

Еще одна страсть, сформировавшаяся в те же годы, — театр. Чубайс оставался поклонником театров имени Ленсовета и Комиссаржевской, увлекся творчеством Льва Додина, в Москве пытался прорываться без билета на спектакли Театра на Таганке. В 90-е годы увлечение театром вылилось в тесное общение с Иосифом Райхельгаузом, режиссером Театра-студии современной пьесы.

Фактически в то же самое время начался самый важный для Чубайса период с точки зрения формирования экономической идео-

логии. Молодой ассистент перешел на 12-часовой режим работы в сутки (60 часов в неделю), который потом трансформировался в режим: 70–80 часов в неделю, с захватом выходных дней.

Дети Анатолия Чубайса твердо помнят, что папа все время был на работе. Теперь же дочери, в отличие от сына, к которому предъявляются завышенные требования, отец, немного упустивший детей сначала из-за работы, а затем и по причине развода и создания новой семьи, уделяет много внимания и, по словам Людмилы Чубайс, «прощает все».

Сын — весьма динамичный 23-летний молодой человек, типичный представитель поколения успешных финансовых менеджеров, много работающих, пребывающих большую часть светового дня в белой рубашке и галстуке и увлекающихся экстремальными видами спорта. Алексей — вынужденно самостоятельный юноша, которого отец в 16 лет отправил учиться в Англию, в школу не с самыми мягкими порядками, — превратился из питерского мальчика во взрослого москвича, который все реже бывает в родном городе.

Дети — это, по определению самого Анатолия Борисовича, «тяжелая тема». Только с середины 90-х Чубайс начал выкраивать время для детей, брать их с собой в отпуск. К тому же началась эпоха отцовского беспокойства по поводу образования сына и дочери, чему свидетелем оказалась уже Мария Вишневская: «У него есть и чувство вины, и отсутствие опыта в общении с детьми, и неровное отношение, из-за чего он может их и незаслуженно ругать, и незаслуженно хвалить».

Тем не менее влияние отца — даже на выбор детьми профессии — очевидно: сын закончил факультет менеджмента Высшей школы экономики и самостоятельно, без звонков отца, нашел себе работу в одном из московских депозитариев.

Дочь Ольга учится в Финансово-экономическом институте.

КОМАНДА

Старший Брат — таково прозвище Чубайса в кругу его весьма многочисленных подчиненных.

«Это лучший руководитель, с которым я когда-либо работал, — утверждает Евгений Ясин, занимавший пост министра экономики в то время, когда его куратором был вице-премьер Чубайс. — После самых тяжелых и конфликтных совещаний все всегда уходят с

готовым четким решением и поручениями для исполнения». «Стиль его руководства для меня был очень удобен, — вспоминает Дмитрий Васильев, первый заместитель Чубайса в годы приватизации. — он дает большую самостоятельность в исполнении задачи, дает ресурсы, но и одновременно нагружает ответственностью». Петр Филиппов: «По складу ума Чубайс — систематик. Он умеет слушать и вылавливать из выступлений самое существенное. Его стиль — не отвечать выступающим, а впитать из позиции каждого главные мысли, затем суммировать их и выдать гениальное итоговое решение».

Анатолий Чубайс увлекается людьми. Тех, кто относится к его ближнему кругу, он считает выдающимися специалистами, причем в абсолютном большинстве случаев — небезосновательно. Причина — в исторических особенностях формирования команды: большинство его сторонников и соратников прошли тест на профессионализм и лояльность во время буржуазной революции 1990-х годов, а многие — еще раньше, в ходе подпольных и публичных семинаров в 1980-е. Чувство команды у Чубайса развито необычайно сильно.

Практически никто из единомышленников Чубайса не выпадал из сферы его внимания. Не всегда их новые назначения были связаны с волей Анатолия Борисовича, но совершенно очевидно, что «личное дело» каждого из них находится на контроле у неформального лидера целого клана нынешней политической, экономической, научной элиты.

Только в одном РАО «ЕЭС России» сейчас в качестве членов правления работают бывший вице-премьер и министр экономики Яков Уринсон, бывший глава Центрального банка РФ Сергей Дубинин, а также неизменно сопровождающие Чубайса советник по пиару Леонид Гозман и советник по связям со СМИ Андрей Трапезников. Глава РАО на 100% использует потенциал каждого.

В краткий период между сменами команд в высшем руководстве страны и важными государственными назначениями первым замом Чубайса в РАО «ЕЭС России» работал и нынешний вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. «Мосэнерго» возглавляют бывший пресс-секретарь Анатолия Чубайса Аркадий Евстафьев и его же первый заместитель по Госкомимуществу Дмитрий Васильев. Схожих примеров множество.

Для Чубайса большое значение имеет понятие «свои». «Своих» он прикрывает и защищает.

Андрей Трапезников вспоминал наиболее характерный в этом смысле эпизод задержания с пресловутой «коробкой из-под ксерокса» Аркадия Евстафьева. Тогда Чубайс позвонил всесильному Михаилу Барсукову и сказал: «Если хотя бы один волос упадет с головы Евстафьева, я вас уничтожу!»

Анатолий Борисович умеет дружить. Друзья — это и такие непохожие друг на друга люди, как Борис Немцов, Сергей Васильев, Яков Уринсон, Евгений Ясин.

Многие из соратников не числят себя в близких друзьях. У иных — не слишком простая история взаимоотношений. Да и как иначе это может происходить у людей, которые знают друг друга 30 лет и прошли через искушения политикой и нескончаемые революционные ситуации. Часть коллег сошли с дистанции — кто-то ушел в частную жизнь, другие спились, третьи оказались неадекватны новому времени. С кем-то Чубайсу просто физически некогда общаться при 16-часовом рабочем дне. «Мы живем не компаниями, а кампаниями, — констатирует супруга Анатолия Борисовича Мария Давыдовна Вишневская, — хотя и стараемся встречаться три-четыре раза в год с Ясиными, Гайдарами, Уринсонами». «Мы пытаемся хотя бы несколько раз в год посидеть в узком кругу и при этом не говорить ни про экономику, ни про политику, — говорит Яков Уринсон. — Раньше, когда все работали в правительстве и часто появлялись на рабочих дачах в Волынском, удавалось неформально общаться несколько чаще. Чубайс с Сергеем Васильевым знают весь бардовский репертуар, Окуджаву, Высоцкого, а Васильев еще и прекрасно поет и играет на гитаре».

«СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ»

Особые отношения связывают Чубайса с Егором Гайдаром. При упоминании «грабительских реформ» их имена неизменно ставят рядом. Но это еще и тот редкий случай, когда деловой тандем превращается в большую дружбу.

Уже после ухода Егора Тимуровича из «большого спорта» первым человеком, кому звонил Анатолий Борисович в тяжелейшие минуты, был именно Гайдар.

Звонил он и тогда, когда в марте 1996 года Ельцин внезапно решил отменить выборы и распустить компартию. («Он позвонил мне в 7 утра, — вспоминал Егор Тимурович, — и сказал: «У нас большие неприятности, срочно приезжай». Я, в принципе, человек

спокойный, но в то утро, бреясь, от волнения едва не отрезал себе пол-уха. Мы договорились, что он пойдет уговаривать Ельцина не делать глупостей, а я отправился в американское посольство звонить Клинтону, чтобы он убедил Бориса Николаевича не отменять выборы. Кровью, которая текла из уха, я залил весь Спасо-Хаус. Это был, возможно, самый опасный момент в истории России последнего десятилетия.) И в июне того же года, когда разворачивалась интрига вокруг коробки из-под ксерокса и Чубайс ночью звонил Гайдару со словами: «Это конец». И в январе 1992-го, когда Гайдар после первой отставки изолировал себя от текущей политики, а Чубайс просил его повлиять на Ельцина, чтобы тот отменил решение о замораживании цен.

«Длинная» привычка к совместной работе сблизила этих двух внешне не похожих друг на друга людей. Они знали цену друг другу. Да так, вдвоем, сиаемскими близнецами от реформ, — и попали они в историю.

БУРЯ И НАТИСК

С 1985 года в экономических институтах по рукам ходила самиздатовская рукопись под названием «Другая жизнь». Ее автор, наиболее радикальный из всех либералов молодой сотрудник ЦЭМИ АН СССР Виталий Аркадьевич Найшуль, выступил с идеей экономической реформы и народной приватизации.

Среди прочего в книге излагался первоначальный сценарий приватизации, которую потом назвали ваучерной. Каждый гражданин, по плану Найшуля, должен был получить по пять тысяч специальных именных рублей. Автор предположил, что для их реализации нужен «руководитель с размахом и кругозором Петра Великого», и против него будет играть то обстоятельство, что к нововведениям не всем будет просто приспособиться.

На конспиративном семинаре, в котором среди прочих участвовали Гайдар, Чубайс, Дмитриев, Васильев, Игнатъев, Петр Филлиппов, идея Найшуля была подвергнута резкой критике.

Чубайс вспоминал: «Основные аргументы были примерно следующие. Это чудовищно рискованная затея, она приведет к массовой несправедливости. Степень сложности процесса и вообще степень сложности объектов — отрасли, предприятия — совершенно различная, неоднородная. Наконец, фантастически упрощается и отупляется способ приватизации: сам подход предполагает при-

митивизацию инструмента для обращения со сложнейшим объектом, результатом чего будет массовое недовольство, массовые обиды».

Кто бы мог подумать, что политическая логика потом заставит противников этой идеи Анатолия Чубайса и Егора Гайдара реализовать ее на практике.

Правительство Гайдара приняло страну в нерабочем состоянии. В экономике останавливались материально-вещественные потоки. Все, что можно было разворовать, разворовывалось и потом было деликатно названо «стихийной» (она же «директорская») приватизацией. Государственных институтов и, соответственно, государственного управления не существовало.

У молодых реформаторов было ощущение временно, очень ненадолго открытого окна возможностей, которое нужно максимально использовать до того, как все окажутся в отставке.

Госкомитет по управлению государственным имуществом, председателем которого Чубайс был назначен 6 ноября 1991 г., стал штабом приватизации — невиданного по масштабам разгосударствления собственности в стране, где не было никаких собственников, и, что не менее важно, отсутствовали деньги и покупатели этой самой собственности.

Как бы ни хотели реформаторы идти по нормальному, общецивилизационному пути продаж предприятий эффективным собственникам за деньги, такой путь в чистом виде, и особенно в начале реформ, был решительно невозможен. Ни денег, ни собственников в переходной экономике не было. Именно процесс перехода и должен был их создать. На что и указывал неудачный опыт чуть раньше начавших приватизацию соседей, в частности — поляков и венгров.

Ее организационная реализация казалась практически невыполнимой. Именно поэтому возникло несколько компромиссных вариантов. И главный компромисс со всем населением страны — ваучерная приватизация. Массовая и быстрая, сужающая поле для стихийной воровской приватизации. В духе идей Найшуля и некоторых других экономистов, обсуждавших возможность введения именных приватизационных счетов, чеков и тому подобных инструментов, измерявших долю каждого гражданина в общем богатстве небогатой страны.

«Поначалу Чубайс внутренне сопротивлялся этой идее», — констатирует Максим Бойко. «Мы хотели проводить приватизацию

за деньги — по-венгерски», — вспоминает Егор Гайдар. «Вся нормативная база, подготовленная в ноябре-декабре 1991 года была сформирована под денежную приватизацию», — рассказывает Дмитрий Васильев, в то время заместитель Чубайса и его правая рука в ГКИ. Но ситуация складывалась таким образом, что лидерам команды реформаторов пришлось согласиться с доводами коллег, которые убеждали их в безальтернативности ваучерной приватизации. Решение было принято, и Чубайс с горячностью и пробивной энергией начал продвигать ваучеры в народное сознание.

В ноябре-декабре 1992-го уже пошли чековые аукционы, система заработала. И в этот момент как раз и состоялась отставка Гайдара.

«Решение остаться в правительстве было общим, хотя оно, скорее, отражало позицию Гайдара. Впрочем, я внутренне, в принципе, считал это правильным прежде всего потому, что надо было закончить начатое», — поясняет свою позицию Чубайс.

Он становился все более влиятельным политиком. Однако из-за бесконечных аппаратно-политических битв и общего неблагоприятного социального фона он почти растратил свою публичную политическую харизму и начал превращаться в живой символ российского либерализма, совершенно не бессмысленного, но при этом «беспощадного».

На этом фоне чековая приватизация продолжалась. «Ваучеры создали искусственный спрос, — говорит Евгений Ясин. — Их можно было покупать и продавать, а это заложило основу для дальнейшего перераспределения собственности рыночными методами. Главное, Чубайс решил две задачи — сделал процесс необратимым, забрал собственность из рук бюрократии и провел приватизацию, сохранив гражданский мир, для чего пошел на компромиссы со всеми заинтересованными сторонами. В результате уже концу 1993 — середине 1994 гг. состоялось организационное чудо — чековая приватизация была завершена, и две трети собственности оказались в частных руках. Наступило время денежного этапа».

КАК РАЗОГРЕТЬ РЫНОК

В конце 1994-го Чубайс в ранге первого вице-премьера стал курировать экономику и финансы.

Денежный этап приватизации, старт которого формально относился к концу 1994-го — началу 1995 гг., на первых порах был, вопреки своему названию, фактически безденежным. С одной стороны, и собственность не вполне была готова к реальной продаже, и собственники. Проводившиеся тогда инвестиционные конкурсы проблемы не решали, а далеким эхом аукнулись сегодня — арестом Платона Лебедева. Продажа акций нефтяных компаний была запрещена парламентом.

В марте 1995 года Владимир Потанин предложил реализовать схему залоговых аукционов, которая в той ситуации показалась единственно возможным способом пополнить бюджет, дать реальный старт денежной приватизации и продолжить политику финансовой стабилизации, за которую отвечал Анатолий Чубайс. После аукциона победивший банк должен был предоставить правительству кредит под залог принадлежащих ему акций того или иного предприятия. Потом, в соответствии со схемой, эти заложенные акции должны были либо быть проданными на конкурсе, либо перейти в собственность кредиторов, либо правительство вынуждено было вернуть кредит.

В результате реализации залоговых аукционов задание по приватизации было выполнено, и бюджет получил миллиард долларов, что в немалой степени способствовало фактическому завершению финансовой стабилизации. Аукционы стали стартовой площадкой для формирования российской олигархии — класса очень крупных собственников. Они сильно зависели от власти, но и власть сильно зависела от них. Тот же Дмитрий Васильев считал залоговую схему потенциально коррупционной и скандальной. «Я доказывал Чубайсу, что фигуранты этой истории потом долго будут ходить в прокуратуру», — говорит бывший первый зампред ГКИ.

«Мы с Уринсоном ходили к Чубайсу и убеждали его в том, что залоговые аукционы — это очень плохо. Но наша роль, как я теперь понимаю, была чисто морализаторской, а ему нужно было добиться успеха», — оценивает ту ситуацию Евгений Ясин.

И в самом деле, скорее всего, другого выхода в то время просто не было. Залоговые аукционы разогрели рынок, началась эпоха профессиональных продаж собственности за деньги. Кроме того, именно благодаря залоговым аукционам у крупных предприятий появились собственники. Причем, как показывает опыт прошедших с тех пор восьми лет, собственники эффективные.

«Когда нам говорят, что мы взяли «жемчужины», лучшую часть, «бриллианты в короне российской империи» и их как бы раздали, с этим никак нельзя согласиться, — разъясняет Чубайс. — Эти так называемые «жемчужины» были в полном провале, были в буквальном смысле ничем. И именно приватизация позволила превратить эти разваленные предприятия в жемчужины новой частной российской экономики. Слава Богу, что мы своевременно отняли их у директоров, причем каждую с боями, с противостоянием. Мы помогли частным акционерам стать собственниками через законные механизмы. А в результате они взялись за этот бизнес и отстроили его, превратив в реально работающие предприятия».

КОНФЛИКТ С ОЛИГАРХАМИ

Конкурс по «Связьинвесту» лета 1997 года — следующий знаковый эпизод в истории приватизации. Это была попытка организовать прямую честную продажу пакета акций за рекордную сумму денег по принципу «кто дал больше, тот и победил». Опыт удался, в результате чего против Чубайса Гусинским и Березовским была развязана информационная война и состоялись отставки ведущих членов его команды.

Олигархам проще было договариваться с властью. Тактический союз с ними, на который пошел Чубайс во время президентских выборов 1996 года, был направлен на то, чтобы не допустить прихода к власти коммунистов. Год спустя экс-руководитель предвыборного штаба президента, а ныне первый вице-премьер, не был готов к тому, чтобы политический альянс трансформировался в полное и безвозвратное слияние власти и капитала, где все решается на основе кулуарных договоренностей. «После драки с коммунизмом началась драка с бандитским капитализмом», — констатирует Чубайс. Жизнь по правилам решительно не устраивала союзников по выборам-96, они давили на первого вице-преьера.

«В истории со «Связьинвестом» власть и бизнес вступили в прямое противостояние, — говорит Чубайс. — Крупный бизнес открыто требовал приватизации власти. Аукцион по «Связьинвесту» действительно был самым честным в истории, о чем свидетельствуют, во-первых, разница между стартовой и конечной ценой пакета и, во-вторых, сама по себе беспрецедентная цена, которую не перекрыла даже недавняя продажа акций «Славнефти». Я считал, что в этой ситуации возможны любые жертвы, вплоть до

моей отставки, но только не отмена результатов конкурса. Если бы мы отступили, то тем самым признали бы: государства нет, власти нет.

Я многократно выступал за отделение бизнеса от власти. Это и было одним из главных идеологических расхождений нашей команды с Березовским и с Гусинским. Если Березовский прямо заявлял, что бизнес — это и есть власть, то я считал, что это совершенно неправильно, власть должна избираться народом, а не бизнесом, и заработанный миллиард долларов вовсе не обеспечивает какое-то право руководить чем бы то ни было, кроме собственно бизнеса. Это было абсолютно фундаментальное идеологическое разногласие, борьба двух принципиально разных видений России, сопоставимая с дракой 1996 года с коммунизмом.

В истории со «Связьинвестом» был и личностный мотив. Собственно говоря, это в мой адрес может быть высказана претензия, что именно я обеспечивал условия для создания российского олигархата через те же самые залоговые аукционы. Но я по-прежнему считаю, что эта акция была единственно возможной в ситуации, когда стране угрожал приход коммунистов. Это значит, что правление коммунистов еще хуже, чем олигархический капитализм. Но, помимо этого, я утверждаю, что вся моя борьба за честный аукцион по «Связьинвесту», собственно, и была следующим шагом, реализующим мое неприятие идеи олигархата. Возможно, мое особое ожесточение в этой борьбе было связано именно с тем, что я участвовал в создании слоя олигархов в 1995 году. «Связьинвест» стал для меня, если угодно, личным искуплением, преодолением политических последствий залоговых аукционов. В 1997-м я четко понимал, что нельзя отдавать власть в руки двум людям, даже самым богатым и талантливым».

Глава «Приватизация» была, безусловно, одной из самых важных и ярких в биографии Анатолия Чубайса. И как бы мы ни относились к результату, именно благодаря разгосударствлению собственности, проведенному в отсутствие гражданской войны, страна изменилась радикальным образом, а экономика заработала.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ОЧЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

В изучении феномена Чубайса хотелось бы более четко расставить акценты и разобраться в деталях.

Речь не идет о том, что Анатолий Борисович любит или чего не любит. И не о том, что ему нравится вредная еда, что в последнее время он пристрастился к японской кухне и полюбил виски без льда. И не о том, что в доме у него живет рыжий кот по фамилии Штучкин и рыжеватый пес-алабай с длинным именем, но короткой кличкой Кирилл. И не о том, что наш герой непритязателен в быту и ему для жизни хватило бы рабочего стола и душа. Важнее другое.

Повторим главное и принципиальное: этим человеком движет миссия. Не честолюбие и ориентированность на карьеру, что тоже, безусловно, есть, но не является основным мотивом. Ощущение миссии — главная пружина его поступков, способности доводить до конца всякое дело, за которое он берется.

Анатолий Чубайс — человек идейный, что естественно, потому что миссия, по определению, основана на твердом мировоззрении, на четко сформулированных идеологемах. «Он действует из одного побуждения — превращения России в рыночную демократию. Но соглашается на применение тех средств, которые позволяют добиваться цели», — рассказывает Евгений Ясин. «Однако при всем жестком прагматизме, для него крайне важно ощущение собственной моральной правоты, — утверждает Леонид Гозман. — Чубайс не признает права на убийство ради достижения цели. На одном из совещаний кто-то сказал, что Лукашенко удобен как партнер. «При нем люди исчезают», — неприязненно отреагировал Чубайс».

Известна способность Чубайса к компромиссам в политике. Но мировоззрение для него важнее политической выгоды. К тому же он просто смелый человек — сказать Владимиру Путину, да еще в наше время, когда весь истеблишмент зависит только от одного человека, по поводу сталинского гимна, что президент с народом ошибается, мог позволить себе только принципиальный и бесстрашный человек. Никто не заставляет главу РАО помогать кому-либо из мировоззренческих соображений, но он это делает, например помогает ветеранам правозащитного движения. Никто не заставлял его вмешиваться в ситуацию вокруг ВЦИОМа, но именно Чубайс помог сохранить одну из самых профессиональных социологических команд. У таких действий сильная мировоззренческая мотивация.

Чубайс — человек экстремального склада, который любит кризисные ситуации, тяжелую работу, высокую скорость и опасность.

Отсюда его юношеское увлечение байдарками и горными лыжами и нынешнее — автопробегами по Марокко или Монголии. И любовь к монотонному спорту — тренажерам, плаванию. Отсюда и его как будто специально натренированная способность находить решения в ситуациях типа «коробочной истории». Значение имеет и природное здоровье: не всякий организм способен справиться с такими нагрузками — физическими, эмоциональными, моральными.

ДРУЖБА С ОКУДЖАВОЙ

Анатолий Чубайс и Булат Окуджава — представители разных поколений, люди разной судьбы, воспитания, образования. Окуджава был одним из кумиров молодого инженера-экономиста, что было типично для того времени и вообще для интеллигентов генерации Чубайса. Эти два человека познакомились в 1994 году при посредстве Егора Гайдара и стали регулярно встречаться на старый Новый год на даче Булата Шалвовича, купили рядом дачные участки в Жаворонках. «У нас всегда и во всем полностью — что поразительно — совпадали все оценки: людей, действий, текущей ситуации, Ельцина, Черномырдина, Явлинского», — вспоминает Чубайс.

Окуджава по логике вещей должен был быть, скорее, сторонником Григория Явлинского и «Яблока». Но симпатизировал Гайдару и Чубайсу. «Он относился нежно к обоим. Задавал им много вопросов. Разговоры крутились, в основном, вокруг политических и экономических проблем», — рассказывает Мария Вишневская. Вероятно, Булату Шалвовичу были интересны люди, которые что-то делают и несут ответственность за свои поступки.

«Я всех писателей и поэтов делил на антисоветских и несоветских. Антисоветским я отдавал предпочтение, и в этом смысле вне конкуренции был Галич. У Окуджавы нет антисоветских вещей, зато есть правда такой пронзительности, которая полностью смекает советский язык, — рассказывает Чубайс. — Потом я понял, что несоветские писатели тоже в драке с советской властью, только в несколько ином измерении, чем прямые антисоветчики».

13 июня 1997 г. Окуджава умер в парижской клинике. Незадолго до конца он написал ко дню рождения Анатолия Чубайса стихотворение, которое было обнаружено в больнице вдовой Булата Шалвовича Ольгой. Последнее стихотворение Окуджавы было

переправлено вместе с поздравлениями Чубайсу 16 июня, в день его рождения.

А. Чубайсу в день рождения

Надо помнить: день рожденья –
это вовсе не венец,
годовой итог горенья...
Всем известно, наконец,
что в правительственных сферах
полагается при том
как бы спрятанный в портьерах
холостых салютов гром,
ну и прочие примеры
с орденами всех мастей...
А у нас иные сферы –
день приязни и гостей.
Ну и чтоб жила легенда
о событье круглый год,
рюмочка интеллигентно
применение найдет.
Как нам жить — узнаем сами.
Мир по-прежнему велик.
Пусть останется меж нами
добрых «Жаворонков» крик.

9 мая 1997 г., Париж
Б. Окуджава

Потом, когда в ноябре 1997 года травля первого вице-премьера и его команды достигла пика, фраза из этого стихотворения «Мир по-прежнему велик...» стала своего рода секретным кодом в отношениях с Чубайсом вдовы и сына Окуджавы, которые написали ему письмо поддержки: «Как личное оскорбление воспринимаем бездарную и подлую кампанию против Порядочного Человека».

Интересно, что именно в тот период с личными письмами поддержки к Чубайсу обратились Мстислав Ростропович и Галина Вишневская: «...мы тоже прошли через дерьмо, и до сих пор только в России встречаются на улицах люди, которые говорят нам гадости в лицо».

Когда Чубайс окончательно ушел из правительства уже весной 1998-го, ему написал Анатолий Приставкин: «...но Россия-то без Вас не проживет. Я в этом искренне убежден. Это все равно, что великого Эрхарда в самый разгар реформ немцы отправили бы в отставку. Что стало бы тогда с Германией?!»

Часть интеллигенции поддерживала и поддерживает Чубайса как интеллигента, делегированного в практическую политику и реализующего задачи, которые соответствуют миссии преобразования страны. В том направлении, в каком это хотелось бы думающим и небезразличным людям. Они могут не разбираться в нюансах экономики, но интуитивно чувствуют, что именно Чубайс и Гайдар переделывают страну адекватным образом.



НИВА ЖИЗНИ

(Рудольф Штейнер и Александр Мень)

Загадочное имя Рудольфа Штейнера витало надо мной с молодых лет. Набрела я на него, вознамерившись пробиться, процарапать сквозь плотный кокон, в который, как в усыпальницу, были заключены не столь уж давно поэты Серебряного века. Без Штейнера, без его антропософии был неполон Максимилиан Волошин; да что там — неполон! Самое сакрально-существенное, самое волошинское в любимом поэте, по отзывам современников, питалось из дорнахского источника. Напомню, что Дорнах — местечко под Базелем, где наперекор разгоравшейся первой мировой войне руками представителей 19 наций возводился величественный Гетеанум — задушевное дитя Штейнера, мекка штейнерианцев. Без «герра доктора» (так его называли ученики) непредставим настоящий, а не выхолощенный Андрей Белый. Кстати, его «Воспоминания о Штейнере», изданные во Франции в 1982 году, попали мне в руки 20 лет спустя, и, судя по всему, я была первой, кто вообще открыл эту книгу — одну из многих тысяч, собранных в Tolstoi-Bibliothek, Русской библиотеке Толстовского фонда в Мюнхене.

Но еще в середине 70-х ко мне прилетели две лежалые, хотя тоже нечитанные или читанные очень мало книги Рудольфа Штейнера, обе на русском языке. И где? В *застойной* Москве, в пролетарском районе Текстильщики, в доме, построенном на средства подмосковного совхоза, куда наша писательская семья была допущена в числе положенных «десятипроцентников», чтобы познавать вблизи жизнь народа. Мы жили на восьмом этаже, на первом же, в такой же трехкомнатной квартире, оказались путем обмена три поколения по фамилии Лашивер, о которых дебелия, волоокая, настоящая русская красавица-совхозница как-то сказала на домовом собрании без тени издевки: «Эти, извините за выражение, евреи»...

Как многие мои друзья и коллеги, закоренелые гуманитари, я все еще искала (в свободные от литературной поденщины часы) смысла жизни. Обед готовлю — ищу. В очереди стою — ищу. Еду за сто километров на выступление от бюро пропаганды — ищу. Перманентные поисковые работы...

Узнав круг моих интересов, малютка ростом, впрочем, весьма бойкая и успевавшая на всех фронтах, невестка, жена и мать Ася Лашивер принесла мне желанные книги. Лишнее доказательство незыблемого закона духовной жизни: наша любознательность, не мимолетная, а укорененная в натуре, точно притягивает информацию из Вселенского Компьютера Знаний — назовем это так.

Что учитель всегда готов, но должен быть готов и ученик, любил повторять отец Александр Мень, знакомство с которым состоялось позже. Внутренне я не была готова воспринять даже основы штейнерианства. В книгах немецкого мыслителя более всего меня поразило, что в известных выражениях: «дух истории», «дух времени», «дух народа», по Штейнеру, имеются в виду реальные личности. Они вершат судьбы мира, влияют на судьбу отдельного человека. Наша свобода иллюзорна. Это приводило к неутешительным выводам. И еще меня насторожил «страж порога». Я поняла его как охранителя человеческой невинности от скороспелого умствования. Подъем по духовной лестнице не только труден — он небезопасен. Нельзя без надежного забрала посещать миры духов. «До сих пор вникать и размышлять тебе позволено, а дальше ни-ни! — перевела я с русского на русский штейнеровское предостережение. — Ты мало подготовлена, малообразованна и вообще другого поля ягода!» Наглотавшись, как утопающий — воды, мудрости знаменитого антропософа, я спускалась в лифте со своего восьмого на первый «поделиться» прочитанным с Асей. Она была близка к диссидентам, сочувствовала *борцам за права человека* и с привычным пылом и последовательностью готова была отстаивать мое право читать, что я хочу... В медлительной тусклоосвещенной кабинке лифта меня охватывал ужас. Мерещилось чье-то незримое присутствие. Подирал мороз по коже. «Страж порога» превращался в «страх порога». Таково было мое первое приближение к отцу антропософии...

А год спустя судьба привела меня в подмосковную Новую Деревню к Александру Владимировичу Меню...

С той поры прошло двадцать с лишним лет... Трагически был вырван из жизни в расцвете сил (зверский удар сзади по шее туристским топориком) отец Александр... Волей неведомо каких сил я оказалась в Германии, в Мюнхене, где, к слову, после всех бомбежек целехоньким стоит дом, служивший в былые времена пристанищем для мятежного русского поэта Андрея Белого. Отправившись однажды по его следам, я попала в Базель и оттуда на трам-

вае (а в Москве мерещились многие километры пути!) добралась до Дорнаха. Где, глазам своим не веря, узрела на месте сгоревшего в начале двадцатых годов Гетеанума — новый, недавно достроенный бетонно-воздушный дворец, воплощенную мечту Штейнера. Похоронен он тут же, в саду, под яблоневыми ветками. Огромный камень давит ему на грудь. На камне — видоизмененный крест и непонятные знаки... Там, под Москвой, отец Александр мирно лежит в ограде своей церкви, под крестом с евангельским изречением, и только легкое бремя живых цветов отягощает его могильный холм...

То, что я увидела и услышала внутри Гетеанума, походило на апофеоз из балета «Спящая красавица». Злые чары были побеждены. Почти восьмидесятилетний сон был, наконец, прерван, как в сказке, — любовью. Последователей? Учеников? Ценителей культуры прошлого? Мне так и не удалось узнать, кто субсидировал разорительно-дорогое строительство, но возводился дворец антропософии явно не по команде; иначе работы не тянулись бы чуть ли не десять лет... Ослепительные залы поражали блеском деревянных панелей, цветными витражами, овально-закругленными формами. Здесь собирались на научные, медицинские, литературные лекции разноязычные группы, проводили свои семинары педагоги и врачи, устраивали выставки художники; рассыпанные повсюду программки сулили то встречу с музыкальным коллективом, то современную постановку «Фауста», то практические занятия по растениеводству, то беседу о живописи. Вскарабкавшись не помню на какой этаж (лифты еще не работали), я замерла перед колоссальной деревянной скульптурой Человека. И надо всем этим витало имя Штейнера...

Штейнер и Мень — правомочно ли такое сближение? Мне заранее слышатся упреки моих осторожных собратьев по христианской вере: «Как ты можешь проводить параллель между истинно православным священником и каким-то сектантом?!»; «Смотри, ты оказываешь своему духовному отцу медвежью услугу: наши охранители-ортодоксы считают широко мыслящего Мень чуть ли не еретиком, а ты, ставя его рядом со Штейнером, подливаешь масла в огонь!»; «Отца Мень знает теперь весь мир, его книги вышли миллионными тиражами, переведены на многие иностранные языки, а кто помнит твоего Штейнера?!». И прочее, в том же духе.

Беру слово для защиты. Мень в ней уже не нуждается. Что бы ни шипели в его адрес завистники и ненавистники, он уже есмь. И

пребудет. В истории культуры, в религиозной философии, в наших сердцах. Подвиг его жизни и завершен, и продолжается. Трехтомный Библиологический словарь, незадолго до гибели завершенный о.Александром и подготовленный к печати Фондом Меня в Москве, недавно вышел в свет и поставил не точку, нет, а только многоточие в огромном списке его изданий.

Сложнее — со Штейнером. Неполного столетия оказалось достаточно, чтобы кумира нехудшей части европейской интеллигенции не просто подзабыли. Оболгали — вместе с его учением. Ошельмовали — и учителя, и тысячи его учеников. Особенно в России. Ведь в приснопамятные двадцатые-сороковые годы (да и потом) достаточно было на дюйм возвыситься над массой, чтобы этот дюйм убрали вместе с головой...

Сам термин «антропософия» состоит из двух греческих слов: «anthropos» — человек и «sophia» — мудрость. Советский Энциклопедический Словарь, изданный шестнадцать лет назад, в выражениях не стесняется: «мистич. доктрина, выделилась из теософии, осн. в 1913 Р. Штейнером; содержит фантастич. толкование разл. областей знания, а также методику развития предполагаемых «тайных способностей» человека к духовному господству над природой (...) до сих пор влияет на пед. практику в ряде капиталистических стран». Плоды влияния на капиталистическую «пед. практику» — это, очевидно, и есть увиденное мной в Гетеануме...

Ладно, Словарь вышел давно. А что теперь? В глубины заглянуть мне пока не удалось, о российском антропософском движении я знаю только понаслышке. На поверхности же мало что изменилось.

Двойственное впечатление произвела на меня книга исследований «Оккультные силы СССР» («Северо-Запад». С-Пб. 1998). С одной стороны, спасибо за долго скрываемую информацию, пусть и жестокую; страшно читать, как под нож государственной гильотины чохом и без осечки попадали как-то дотянувшие до тридцатых советского века «политические оппозиционеры» — от тибетских врачей-целителей и искателей Шамбалы до членов средневеково-рыцарских лож (розенкрейцеры, тамплиеры и пр.), от теософов и антропософов до невинных посетителей литературно-театральных кружков. В руках у авторов — уникальный исторический материал, но распоряжаются они им по-разному.

Вот что пишется о великом русском философе, кстати, глубоко почитаемом обоими моими героями, в очерке «Красное масонст-

во»: «Основоположник учения о Святой Софии — Владимир Соловьев (1853-1900), обладая гениальным умом, представлял собой в то же время, как полагают некоторые исследователи, „врожденно неполноценную личность с несомненными психопатическими чертами психической дегенерации. На слабых плечах своей телесной и нервно-психической неполноценности нес он тяжкое бремя яркой гениальности. Рано пробудившаяся и, «как жало во плоть», всю жизнь мучившая Соловьева патологическая эротика, вместе с тлетворными влияниями неправославной, нецерковной мистики, извратили его религиозный мистический опыт, пленили его в прелесть и увели в бесконечность блужданий в поисках истины — вне церкви. (Остерегаясь «светиться»), лукавый автор, Виктор Брачев, выхватил эту цитату из книги Ю.П.Граббе «Корни церковной смуты». И никаких комментариев. Значит, согласен.)

Сильно осязаемый «спецслужбистский» душок присутствует в книге и по отношению к Штейнеру, к антропософам. В очерке Александра Борисова «Расстрелянные грезы» отец антропософии вообще назван Р.Шнайдером (стр.195). Уже знакомый нам Виктор Брачев, по долгу службы, так сказать, перечисляет «наиболее горячих пропагандистов антропософского движения в России», в том числе Андрея Белого, его жену Клавдию Васильеву, и, не утруждая себя ни анализом, ни эмоциями, дает бюрократическую справку: «В 1923 году Теософское и Антропософское общества были формально закрыты, хотя фактически продолжали существовать вплоть до конца 1920-х годов. Первый серьезный удар по ним нанесли аресты 1927 года. Окончательно их доби́ли (выделено мной — Т.Ж.) в 1931 году, когда большая часть участников движения оказалась в ссылках и лагерях» (стр.244). Как иногда выдает автора одно-единственное слово! «Доби́ли» — значит, туда им и дорога! «Доби́ли» — значит, получили по заслугам... Незаинтересованный своим предметом журналист проходит мимо факта потрясающего. Чтобы выцарапать из когтей ОГПУ свою дорогую Клоню, аполитичный Андрей Белый пишет письмо Сталину, в Совнарком, в прокуратуру. Мечется по Москве уже без надежды обрести справедливость... Жена, убежденная антропософка, все-таки вернулась. Но Андрей Белый надорвался в этой борьбе. Вскоре его не стало...

«Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого я начала читать, занимаясь воспоминателем, а не воспоминаемым, но тут что-то случилось. Мой компьютер превратился в машину времени. Я как

будто кликнула мышкой на словечке «zurück» (обратно) — и возвратилась на годы и годы назад. В Новую Деревню, где отец Александр стоически-терпеливо принимал в прицерковном домике-сторожке или во дворе всех раненых жизнью чад Божиих, крещеных и некрещеных, желающих побеседовать, излиться, — Боже, сколько было нас таких в доперестроечные, перестроечные и особенно постперестроечные годы! Я снова вернулась в огромные и малые московские залы, всегда набитые битком в те два с половиной года (поздняя весна 1988-ого — ранняя осень 1990-ого), когда великому пастырю разрешили выйти с проповедью к народу.

Как он все успевал? От Семхоза, где он жил с женой Натальей Федоровной и другими членами большой семьи, до Пушкино, где он служил, 40 минут на электричке.

Литургия в храме обычно начиналась в 8 утра; часто он один и исповедовал, и вел службу. Сверх того — неукоснительные требы. Порой заглянешь в сторожку, где вдоль стен сидят алчущие общения со священником-интеллектуалом, — нет его. Где он? В больнице у кого-то из прихожан. Причащает старушку на дому. Отпевает новопреставленного на кладбище. А венчания? А крещение младенцев?..

Никогда не забуду, как бережно прижимал он к себе орущих голышей, лихо и весело окунал их в серебряную купель, помогал нескладным невежественным крестным и произнести что нужно, и промокнуть дитя пеленкой, и надеть после крестика крестильную рубашку.

Многочасовое общение с прихожанами. Сама грешна: столько надо сказать, испросить совета, а то и новые стихи прочитать; он слушал их заинтересованно-внимательно, сам был поэтом, правда, скрывал это. «Пушкинских» пропускали без очереди, да их и было меньше, но страсти и грехи у городских и загородных, образованных и не очень, не раз подчеркивал он, те же самые. «Грехи наших ближних — зеркало наших, до поры до времени скрытых грехов» — всегда помню это его предостережение. Потому и стараюсь никого, особенно из своего круга, не осуждать... А писание книг с огромным справочным аппаратом? Возьмите любой из мевневских томов — четверть объема составляют примечания. У него дома, в Семхозе, стоял длинный стол с высокими книжными столбиками; прочитанные, просмотренные книги и брошюры отодвигались в сторону. Их место занимали новые. Рукописей и подсобных материалов было столько, что отец Александр устроил для

них в саду специальное **сжигалище**. Слышала это слово из его уст. Он состоял в переписке с невероятным количеством корреспондентов. От певчей в храме до выдающихся современников. Никогда не писал под копирку. Опубликованные в последнее время письма — только небольшая доля отправленных. И каждое письмо глубоко индивидуально, именно этому адресату предназначено...

В конце 80-х могло показаться, что, помимо общих, подвластных физическим законам, существуют еще какие-то особые, меневские, время и пространство. Он выступал по радио и телевидению, читал циклы лекций в ДК и НИИ, вел работу в Библейском обществе, открывал воскресные школы, посещал больницы, в том числе детскую онкологическую, заканчивал Библиологический словарь (нагрузка для целого научного учреждения, а он выдержал ее один), готовил к публикации статьи для газет и журналов. Став, наконец, выездным, активно участвовал в международных религиозных конференциях и симпозиумах.

О встрече с этим неподражаемым человеком, священником и другом своих бесчисленных духовных чад, хранителем их тайн, литературно безупречном писателе, сильном мыслителе и горьком провидце, о его трагическом безвременном уходе я написала несколько стихотворений и повесть. Она напечатана в сокращенном виде в сборнике воспоминаний «И было утро», полностью же — в двух моих книгах: «Мы — счастливые люди» и «Короткая пробежка». Я была духовной дочерью отца Александра десять лет, то есть закончила «меневскую десятилетку». По мере сил и возможностей соблюдала весь «церковный чин»: участвовала в службах, исповедовалась, причащалась. Я получила из рук Меня, из его личной библиотеки, десятки религиозных и богословских книг. Штейнера он мне не давал. Почему? Об этом поразмышляем дальше.

Как будто об отце Мене сказано то, что А.Белый писал в своих «Воспоминаниях о Штейнере»: «Деятельность его уподоблялась перманентной деятельности вулкана, сотрясающего окружающих подземными толчками, вызывающими в них эффект потрясения; все вокруг него было потрясено; и все, находящиеся в его обстановке, для лиц, непосвященных в этот темп трясений, ходили странно расширенными глазами; казалось: лица их вытянуты от изумления; было чему ИЗУМЛЯТЬСЯ» (сохраняю все особенности беловских пунктуации и написания. — Т.Ж.).

Из своих пятидесяти пяти отец Александр 30 лет был священни-

ком, писателем и только в последние годы жизни добавил к этому лекторскую работу. Но мы, духовные его дети, кому посчастливилось слышать его задолго до выхода на публичную кафедру, смогли ли передать страстность, глубину и покоряющую убедительность его проповедей так, как это сделал А.Белый в отношении Штейнера? Не знаю, не уверена. Белый словно снимал фильм о своем Учителе, стремясь с помощью слов выразить то, что кино делает посредством камеры, пленки, освещения и других технических хитростей. Слог поэта прихотлив, непривычен, но сразу чувствуешь: он не «выпендривается», а жаждет наибольшей точности, динамики, выразительности:

«Великолепен был жест этого человека — во всем; в частности; я всегда наблюдал его жесты на лекциях, произвольные и экспрессивные: не перечислишь их; они менялись; некоторые повторялись, как тема в вариациях (...) вот один жест: рукой, поднятой и протянутой перед собой, начерчивает медленно и отчетливо линию вниз, и жест — произвольное сопровождение слов; пауза в жесте; и вот: рукою, тою же, протянутой в сторону, он проводит перед собой горизонтальную линию; и опять-таки: линия — произвольное сопровождение фразы; но получившееся пересечение линий, отчетливо рисуемое перед нами КРЕСТ, есть высечение между двумя смыслами двух смежных фраз — смысла третьего, большего, как и крест есть ФИГУРА, а не сумма линий...»

Не припоминаю подобного жеста у отца Александра, но хорошо помню, что кресту он придавал особое, символическое значение. Как не перекрещению двух линий, а выражению глубокого смысла мироздания. В словаре Ожегова, переизданном недавно, символизм как художественное направление, разумеется, обруган за «индивидуализм» и «мистицизм» и еще за то, что отражает «действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах». Но если символист А.Белый, один из основателей и страстных приверженцев этого течения в мировой культуре конца XIX – начала XX века, провидит в жесте лектора символ его веры, то я обеими руками за такого символиста и за такой символизм.

В журнале «Огонек» (№ 03-04, 2001) опубликованы письма Меня к его духовной дочери, иконописцу, реэмигрантке Юлии Николаевне Рейтлингер, женщине потрясающей судьбы — тернового венка из творчества, страданий, физической немощи и веры. Веры

прежде всего. Ей он пишет то, что мы, личности калибром поменьше, вместить, может быть, и не в силах:

«Ваше искупление в Вашем призвании, предназначенности, соучастии в замыслах Божиих... У каждого своя роль в жизни. Надо уметь выполнить именно ее... Для всех звучит, хоть раз, призыв Божий... На краю беды и крушений иной раз внезапно открывается то последнее, что превышает все наши надежды... Была одна странная женщина, которая прошла через этот опыт. Это Симона Вайль. Некоторые ее прозрения удивительны. «Нужно вырвать себя с корнем, — говорит она. — Спилить дерево, сделать из него крест и нести его на себе всегда. Любить Бога без утешения — это свет...»

Крещенные во младенчестве или в зрелые уже годы, вроде бы по глубокому убеждению, мы таскаем на груди крестик, больше думая о том, золотой он или нет, — не потерять бы, если золотой или серебряный, — чем о том великом, что он собой знаменует. Прости нас, Господи... Да, так, именно этим рефреном, «прости нас, Господи», шунтировали каждое сердце те исповеди, те стихотворения в прозе, что, полный скорбного величия, при своей обычной простоте и доступности, произносил от лица паствы в Новодеревенском храме отец Александр.

А вот еще одна беловская «съемка» Штейнера:

«И на кафедре напоминал Савла он, ставшего Павлом.

Появившись среди нас, он не знал, как оформить, с чего начать: взъерошенный, глядя в пункт (точку — Т.Ж.) между обеими руками, старавшийся вместо слов поставить что-то, ему одному видимое, он, не видя нас, беспомощно расхаживал по эстраде (обычно же не расхаживал), останавливаясь не у кафедры, у края эстрады, где-то слева, целясь в угол стены; подолгу недоуменно молчал и бросал начатую фразу...»

Это — неиссякаемый, казалось бы, герр доктор в минуту усталости.

Мень всегда был собран, заразительно-вдохновенен. В состоянии, близком к прострации, я видела его один-единственный раз, в заурядном московском ДК во время лекции о матери Марии, ровно за неделю до его убийства. Что он видел — «ему одному видимое»? Может быть, своих убийц? «Времени уже нет!» — сказал он одному из нас в эти последние дни жизни.

Возвращаюсь к началу приведенного выше отрывка. Великий писатель и религиозный деятель двух последних тысячелетий, апостол Павел, точно простирает над временем свою руку, благослов-

ляя на служение своих учеников и духовных наследников. Независимо от того, ортодоксальны они или нет, исповедуют православие, другую христианскую конфессию или вообще внеконфессиональны. Вот что пишет об этом А.Б.:

«Несправедливого», сердцем горячего Павла всем сердцем любил, понимал доктор Штейнер; и он понимал, как мог Павел казаться теперешним людям культуры — несноснейшим рационалистом, сократиком (Ницше), иль вовсе безумцем (Толстому). (...) Но когда я читаю крик Павла о том, что для ВСЕХ БЫЛ ОН ВСЕМ, чтобы некоторых разбудить, — говорю себе: «О, я понимаю; ведь я видел Штейнера!»

Он — был всем для всех, чтобы некоторые проснулись для ПОНИМАНИЯ культуры, как целого. (...) Человек учился всю жизнь; и знал больше многих, показывая, до каких пределов в наше время может конкретно расширяться человек».

Савлом, то есть фарисеем, гнавшим Христа, отец Александр не был никогда. Крещенный в младенчестве катакомбным старцем Серафимом Батюковым, он был из тех Божьих избранных, о которых говорят: вера раньше его родилась. В 12 лет Алик Мень уже провидел свой путь и, как вспоминают близкие, составил план своих грядущих богословских книг. Тем не менее апостол Павел был одним из любимейших его героев. Он писал книгу о нем, да вот не дописал, не успел. Явились и трудности в работе, какие-то нестыковки — однажды мимоходом упомянул при мне об этом. В чем он был совершенно «павловским», то это в стремлении и умении найти ключ к любому характеру, подобрать такую нарезку, чтобы открылся и тугой, упорный в своей замкнутости, часто сдвинутый или опрокинутый внутренний мир доверившегося ему человека. Ничего, что такая «нарезка» часто проходила по сердцу исповедника, духовника. Но об этом пусть лучше скажет один из преданнейших его памяти духовных сыновей, ставший под его влиянием священником: Михаил Аксенов-Меерсон:

«О.А был апостолом Павловского типа: он становился «всем для всех, чтобы спасти некоторых» (1 Кор 9:22), и поворачивался к собеседнику той стороной, которая последнего интересовала, точнее, которую тот мог воспринять. (...) Его уникальная отзывчивость многих вводила в заблуждение: церковных диссидентов, которые ожидали, что он пойдет с ними обличать иерархию; правозащитников, тянувшихся к нему со своими петициями; самиздатчиков, вроде меня, пытавшихся втянуть его в самиздатскую полемику; сионист-

ски настроенных христиан, которые надеялись, что он возглавит иудео-христианскую общину в Израиле, и т.д. Всех благодушно подерживая (оказалось, что одно время Солженицын хранил у него в саду вариант своей рукописи «Архипелага Гулага», которую о.А., шутя, называл «Сардинницей»), он оставался непоколебимым в своем собственном пасторате, и сдвинуть его было невозможно». («Континент» № 111):

У меня вызывает сомнение только слово «благодушно». Чего стоило ему это «благодушие»! Достаточно было взглянуть на его сильные руки, на ладони, осыпанные с тыльной стороны зудящими пятнами нейродермита, чтобы догадаться о цене, которую платит в наши дни ученик апостола Павла...

Слово «пасторат», употребленное моим духовным собратом, для русского слуха привычнее звучит как «священство». Да, отец Александр был прежде всего священником. Обладая энциклопедическими знаниями, успев закончить задуманный в ранние годы цикл книг о религиозных исканиях человечества («В поисках Пути, Истины и Жизни»), он ни на минуту не забывал о сотнях душ, прильнувших к нему в надежде на водительство, укрепление в вере, помощь. Своему ученику, священнику Игнатию Крекшину, он как-то сказал, что его настоящее призвание — проповедовать Слово Божие людям в их каждодневной жизни. Он не делил действительность на высокую и низкую. Неизменно благожелательный, находчивый, пользуясь юмором как рапирой, он стаскивал нас с седьмых небес на эту грешную землю, чтобы мы без напряжения и раздражения, а естественно и любовно выполняли свой человеческий, а значит и христианский, долг в отношениях с людьми — на работе, на улице, в транспорте, в магазине, в семье. В семье — особенно. Лад среди членов семьи, сначала родительской, а потом и собственной (если человек заведет такую), — первая ступень, считал он, в Царствие Божие... Тяжесть семейного быта, особенно для женщины, — тоже ведь испытание, и многие «эмансипэ» проваливаются, едва закончив начальную школу домоведения. Как-то я пожаловалась отцу Александру на нескончаемые домашние дела, что съедают время, отпущенное для творчества, для самообразования. Он незамедлительно отпарировал: «А вы, что, хотите вознестись при жизни?» То и дело в нашем доме возникали проблемы. Дочка-студентка собралась замуж — я волновалась: не рано ли? О.А. прояснил мне ситуацию: «Хотя Саша — родительская дочь, а не «Дикая Бара» (был когда-то такой фильм), вы не можете учить-

ся за нее любить». И, сам дважды отец, а к тому времени уже и дед, грустно добавил: «В таких случаях нам ничего не остается, как только помахать с берега платком...»

Он всегда вел себя как христианин, а мы ему подражали, во всяком случае, старались подражать.

Я не собираюсь сравнивать себя с Андреем Белым. Другая эпоха, другое образование, другой склад характера. О масштабе таланта не говорю: только в Баварской государственной библиотеке 90 книг Белого! Красноречивый факт. Но в одном мы схожи. Я хорошо понимаю, что значит для человека мятущегося, нервного, привносящего внутренний мятеж, пагубную для жизни раздвоенность даже в веру свою, иметь перед глазами образец Учителя. Рассказывая о Штейнере, А.Б. предельно откровенен, по-детски простодушен. Он не боится, что его заподозрят в духовной несамостоятельности, в том, что он — захребетник великого мужа. Даже если ты — светоч литературы, науки и т.п., не грех посветить порой и отраженным светом, особенно если за плечами учителя стоит Тот, Кого именуют «Свет миру» (см. одноименную книгу Меня).

Рудольфа Штейнера обычно называли не отцом, а доктором, это обращение неожиданно открыло свой двойной смысл: он, и в самом деле, врачевал души. Русский поэт-символист, судя по всему, был для него объектом особого внимания и попечения. Вот признание самого подопечного: «...когда я ему пожаловался на свои трудности и окаянства, он вдруг вспомнил со светлой улыбкой, весь расцветившись: «Но вы же написали хорошую книгу!» Мало того, что он, откликнувшись на мою работу, ее же и окрылил (все другие — гасили), он был единственный человек, от которого я услышал по прямому проводу добрые слова о книге, потому что в Дорнахе все, кому читал отрывки из нее, либо молчали из боязни попасться впросак (похвалить, а книга-то окажется дрянью), либо из боязни, что «нос задеру», или из равнодушия; приехал в Россию; и та же картина...»

А вот еще один сходный случай: на повышенно-нервные, «люциферические», как аттестует их сам поэт, выходки А.Б. Штейнер откликнулся благодушно: «Это у вас в крови бродит произведение, которое вы должны написать». «Поезжайте! И — смотрите: не возвращайтесь ранее шести недель; и не возвращайтесь без эдакой вот рукописи!». Белый уехал и вернулся с книгой «Котик Летаев».

«Просто отец родной», — хотелось воскликнуть в иные минуты;

не фигурально, действительно, многим он омыл ноги...», — вспоминает поэт.

Как похожи эти речи и эпизоды на психо-терапевтические приемы отца Меня, работавшего со своей паствой! Пишущей (и вообще творящей — картины, фильмы, диссертации), а значит, вечно недовольной миром и собой (особенно миром), обидчивой, тщеславной, нередко истерической братии хватало в ее пестром составе...

«УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО ПОСТУПОК НЕ СВЯЗАЛ СВОБОДНОЙ ВОЛИ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА» — не случайно выделенное крупным шрифтом, это изречение Рудольфа Штейнера, думаю, принял бы и отец Александр Мень.

Единой точки зрения на Штейнера, его систему взглядов и личность нет до сих пор; ее и не может быть. Спасибо за то, что издают по-русски, хотя делают это энтузиасты на местах: в Калуге, в Армении... Редко, но просачивается такое громкое сто лет назад имя и на страницы нашей периодики. С некоторыми оценками (обычно сквозь зубы) хочется поспорить. Так, Станислав Яржембовский, в своем философском комментарии «Мир в поле зрения «третьего глаза»» (журнал «Звезда» №6, 2002) пишет: *«Во все исторические эпохи существовали взаимоисключающие философские и религиозные системы, и родственные души находят друг друга и перекликаются между собой через сотни и даже тысячи лет»*. Насчет «душ» и «переклички» сказано справедливо. Но вот С.Я. начинает выстраивать линии: *аристотелевскую, платоновскую и т.д.* Штайнер (по-немецки Штейнер так и звучит, но я придерживаюсь в написании старой русской традиции — Т.Ж.) попадает у него в *окультную линию* вместе с языческим ведовством и колдовством, рядом с Беме, Сведенборгом, Блаватской.

О христоцентризме Штейнера он не упоминает. В то время, как одно это, главное это, резкой чертой отделяет антропософов от теософов (Блаватская, Безант), неотеософов (Рерихи), весьма популярных ныне Гурджиева, Кастанеды и многих других. Мне скажут, что и современные гадалки-надомницы, к которым валом валит неустроенный (особенно женский) люд, гадают теперь под иконами, вперемешку с туманными заклинаниями шепчут имя Христово. Да, это так. Человечество до сих пор не излечилось и вряд ли когда-нибудь излечится от прародительского языческого начала, и в этом смысле все мы похожи на игуанодонтов: лосня-

щесся хищное тулово, с неутолимой жаждой насыщения, и маленькая головка, хорошо если не с помраченным светом разума. Както мне довелось слушать церковную проповедь Меня, посвященную человеческому безумию. Каждый человек, говорил он, каждый без исключения бывает в пограничных состояниях; ум может помутиться и у сверхнормального; кто слишком полагается на себя, любимого, только в себе видит мерило добра и зла, не имеет и не желает иметь выхода к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато...

«Зло будет возрастать» — предсказывал Меня незадолго до своего ухода. Теракты — зло, война — зло, нетипичная пневмония — зло. Перечень пополняется каждый день. Тем более сейчас хочется собрать все золотые крупницы человеческого знания и сознания, обретенные на тернистом пути к истине. А антропософия, если подойти к ней непредвзято, содержит цельные золотые самородки.

Рудольф Штейнер и его ученики были христианскими пацифистами, за что их ненавидели опьяненные угаром братоубийства немцы, французы, русские, погрязшие в кровавом месиве первой мировой войны. Величественный Гетеанум, который во время войны строили в Дорнахе представители воюющих наций, через несколько лет был подожжен и сгорел дотла. В своих воспоминаниях о докторе Штейнере Андрей Белый пишет: «Дорнах» стал «дорном» (терновым венцом) для многих из нас, как и пожар ГЕТЕАНУМА — терновый венец, сплетенный доктору».

В газете «Европа-Экспресс» (№33/284) недавно появился сенсационный для нашей темы материал. Феликс Гимельфарб размышляет по поводу книги Хайнца Хене «Орден „Мертвая голова,» (H.Nuhne «Der Orden unter dem Totenkopf»).

Оказывается, Гетеанум был уничтожен не мелкими безыменными хулиганами, а набирающими силу фашистами. Штейнера они на дух не переносили. Далее цитирую по газете: «Для нацистов этот последователь Гете и основатель «науки о духе» был идеологическим конкурентом. Построенный Штейнером в швейцарском Дорнахе «Гетеанум», куда приезжали набираться мудрости интеллектуалы со всей Европы, настолько раздражал новых германских революционеров, что в 1924 году группа штурмовиков во главе с Ремом пересекла швейцарскую границу и сожгла «храм науки». Эта акция до наших дней окружена ореолом таинственности...».

(Согласно другим, имеющимся в моем распоряжении источникам, первый Гетеанум сгорел в новогоднюю ночь 1922/23 года. — Т.Ж.).

Что все тайное станет когда-нибудь явным, известно с незапамятных времен. Но все еще находятся любители прятать горючие концы в воду... Штейнер-философ мне, как, вероятно, и многим читателям, пока не дается в полном объеме. Поэтому и рассказала о нем как о педагоге, смотрела на него глазами Белого. Положительную или отрицательную роль сыграл он в судьбе известного русского поэта? Я считаю — положительную. Все знают о поэме Блока «Двенадцать», и мало кто — о написанной в том же 18 году поэме Андрея Белого «Христос воскрес!». Между тем это замечательное произведение, сравнимое по силе воздействия разве с державинской одой «Христос». Уверена, что основной импульс к написанию такой поэмы А.Б. получил из лекций Штейнера.

Послушаем, что говорит об этом сам автор воспоминаний: «Встреча со Ш-м была мне впервые встречей со СВЕТОМ ТЕПЛА, давшим пусть только миги знаний; те миги, — основа пути «Я» в извечном (...) раз вспыхнувшее не угасает.

Его теория сознания, его логика, его философия культуры, его антропология есть рассказ о Христе и об импульсе Христа в человеке...»

Я никогда не слышала от отца Александра слов, которыми насыщена антропософия (многие понятия заимствованы из буддизма): Атман, Будхи, Манас, реинкарнация, ментальное тело, эфирное тело, карма... Очень деликатно обращался он с любимым эпитетом штейнерианцев «астральный». В первую нашу встречу, когда я призналась ему, что с ранней юности веровала во что-то высшее, но при этом активно интересовалась всякими оккультными штуками, как то: астрология, хиромантия, спиритизм, он, привыкший и не к таким откровениям, ответил невозмутимо, но веско: «Все, о чем вы говорите, — это вход в то же здание, но... с черного хода. Занимаясь спиритизмом, вы попадаете в низший астральный слой духовного мира. Зачем пускаться в ход силы, которых мы не знаем и с которыми не умеем совладать?..» «Путь от человека к Богу прям!» — увидев мою растерянность, завершил он тогда...

Несколько лет назад в Москве вышла книга, где Меня бесстрашно касается вопросов, от которых буквально шарахается наша церковь, но которые волнуют множество людей. Я имею в виду сборник извлечений из книг, лекций и бесед, толково и бережно составленный Аллой Калмыковой, Павлом Менем и Стасе Радалявичюте «Магия, оккультизм, христианство» (Фонд им. А.Меня, 1996). Вот что там говорится по интересующему нас предмету:

«Антропософская доктрина была попыткой христианизировать теософию: опираться не на индийский, а на христианский опыт. И многое в этом отношении было Штайнером сделано. Его горячим приверженцем был русский поэт Андрей Белый, очень высоко его ставил Максимилиан Волошин (...) Штайнер был замечательный человек — великий организатор, художник, музыкант, оратор, много писал. О нем есть великолепные воспоминания Андрея Белого, недавно их издали на Западе» (а теперь и в России. — Т.Ж.). «Штайнеру не удалось приблизить теософию к христианству, — продолжает мой духовный отец, — потому что для него в его видениях Христос стал Богом, исходящим с Солнца, солнечным Божеством. Это, так сказать, локальное планетарное явление, конечно, не может быть сопоставимо с тем, что мы открываем в Евангелии».

Да, у Меня была иная историческая задача, чем у Штейнера. Не «новое религиозное сознание» привнести в обветшалый мир, устами Ницше провозгласивший **смерть Бога**, а вернуть современников после десятилетий старательно насаждаемого безбожия к христианской вере. Во дворе Сретенского храма толкалась не только зеленая молодежь, к отцу Александру приникали с надеждой не одни мои ровесники, технари и гуманитарии средних лет... В Новой Деревне побывал и цвет русской культуры: А.Галич, Н.Каретников, М.Юдина — всех не перечислишь. Хорошо сказал о миссии Александра Меня один из его духовных детей, ученый и правозащитник Григорий Глазов: *«Отец Александр верил, что время способствовало просветлению умов и возрождению христианства. Нужна была напряженная повседневная работа по просвещению людей, по освобождению их от пут дикости, страстей, ложных и опасных концепций. Многим было ясно в те годы, что Русь нужно крестить заново».* (журнал «Истина и Жизнь», №9,2002 г.)

Почему, щедро делясь со мной книгами из своей библиотеки, о. Александр не дал мне Штейнера? Потому что не хотел отвлекать от главного? Уберегал от «опасных концепций»? Учитывая мою тягу к «низшим астральным слоям духовного мира», считал себя обязанным спрямить путь, ведущий к Богу?.. Не знаю, одобрил ли бы мой духовный отец самую тему этого эссе. Возможно, что и нет. Осудил ли бы меня? Тоже нет. Ибо свободу и любовь (как и Штейнер) он ставил превыше всего. Может, просто процитировал бы Блаженного Августина: «Мне все позволено, но не все полезно». Или отечески сказал бы в назидание: « Это в вас бродит новая книга. Садитесь за компьютер и, смотрите, без такой вот толстой рукописи на тот свет ко мне не являетесь!».

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В этой, ставшей уже традиционной рубрике нашего журнала, мы знакомим немецких читателей с новыми переводами на немецкий язык произведений русских поэтов. Стихи Иосифа Бродского даются в переводе Мелиты Нойман (Melitta Neumann).

Одна из ведущих ганноверских газет — «Hannoversche Allgemeine Zeitung» — положительно оценила работу М. Нойман и ее стремление донести поэзию нобелевского лауреата до немецкого читателя.

Joseph Brodsky

24 Dezember 1971

Zu Weihnachten sind alle ein wenig
Weise vom Morgenland oder auch König.
Ein Matsch. In den Läden Gewühl und Gedränge.
Für Kaffehalwa stürmt die wogende Menge
beinahe den Tresen. Dann ziehn sie davon —
Zar und Kamel in einer Person.

Beutel und Bündel, Tüten und Taschen,
Mützen, Gesichter, ein Schlips, der nicht stimmt.
Riechen tut's furchtbar nach Wodka, nach Flaschen,
nach Äpfeln und Fischen, nach Tanne und Zimt.
Ein Chaos im Schnee. Und im trüblichen Licht
sieht man den Weg nach Bethlehem nicht.

Dann springen die Bringer armseliger Gaben
in Busse und Bahnen und drängeln noch mehr.
Die Häuser verschlingen sie später am Abend.
Sie ahnen es beinah' — die Höhle ist leer.
Kein Ochs und kein Esel und auch, wie zum Hohne,
nicht einmal die Jungfrau mit goldener Krone.

Entsetzliche Leere. Doch denkt man an SIE,
strömt irgendwo Licht über all diesem Plunder.

Herodes war stark, doch er wußte ja nie —
je stärker die Macht, desto sich'rer das Wunder.
Und diese Art Beständigkeit
ergibt den Sinn der Weihnachtszeit.

D'rum feiert man heute so fröhlich und gern.
SEIN Kommen vollzieht sich im Stillen.
Man sieht noch zur Zeit keinen Wunsch nach dem Stern,
doch erkennt man den guten Willen.
Ja, den willen erkennt man. In finsterner Nacht
haben die Hirten schon Feuer gemacht.

Der Schnee hüllt die Erde bald vollkommen ein.
Es röhrt und trompetet der Winter.
Herodes hat Durst und er trinkt seinen Wein.
Die Mütter verstecken die Kinder.
Und wenn EINER kommt, mit welchem Gesicht?
Womöglich erkennen die Herzen IHN nicht.

Aber wenn dann im nächtlichen Winde
im Türrahmen kalt und vereist,
erscheint eine Mutter mit Kinde,
dann spürst du den Heiligen Geist.
Du spürst ohne Scham und schaut in die Fern' —
dort funkelt am Himmel und leuchtet ein Stern.

Lichtmess **(Begegnung)**

Anna Achmatova

Sie trug ihren Sohn in den Tempel hinein.
Im Raume war's dunkel. Dort dienten allein
von denen die, immer im Tempel vorhanden,
der Greis Simeon und die Seherin Hanna.

Das Kind übernahm da der rüstige Greis.
Die anderen standen, in schwankendem Kreis
herum um den schlafenden Säugling, am Morgen —
im Dunklen verloren, jedoch auch geborgen.

Der Tempel umgab sie, so seltsam verklärt.
Entzog sie den Blicken von Himmel und Erd'.
Als ob sich ein wogender Wald hat erhoben
und über sie schützend die Kronen geschoben.

Ein Lichtstrahl fiel schräg in die Finsternis ein,
umhüllte das Kindlein mit heiligem Schein.
Doch spürte es nichts, denn es atmete leise
und schlief ohne Ahnung, gehalten vom Greise.

Nun wurde dem Alten einmal prophezeit:
Er würde nicht sterben, bevor nicht die Zeit
Des Heilands gekommen. Das ihm Prophezeite
erfüllte sich endlich. Da sagte er: «Heute

erblickte mein Auge das selige Licht.
Mein Gott, jetzt, in Frieden entlässest Du mich.
Dein Sohn und Dein Nachfolger ist heute kommen,
ein Lichtquell der Welt und für alle die Frommen

die Ursach' zur Freude.» Der Greis Simeon
schwieg stille. Im dunklen verhallte der Ton.
Er flog wie ein Vogel hinauf zu den Sparren
und mußte dort oben ein Weilchen verharren.

Den Frauen war's seltsam. Die Stille im Raum
war seltsamer noch als die Worte. Und kaum
bewegte sich einer... «Was sind das für Reden?»
Maria schwieg still, doch das Wort des Propheten

ging wieder an sie: «Dieses Kind, das du hältst,
erhöhet die einen — die anderen fällt's,
zum Zankapfel wird er im Streit der Gerechten. —
Man wird ihn verleumden, man wird um ihn fechten.

Doch wenn er getötet wird, trifft es auch dich.
Die Wunden die er trägt, die sind auch ein Stich
in dein Herz. Und deine gemarterte Seele
wird weinen und bluten, wird ahnen und sehen.»

So sprach er und zögerte, drehte sich um
und ging. Doch die Hanna, vor Alter ganz krumm
und Maria schauten erstaunt und betreten
ihm nach. Und Bedeutung und Leib des Propheten

verringerten sich. Und er ging schnell voran,
als trieben die Blicke der Frauen ihn an.
Er stolperte etwas und hing an den Stufen.
Doch wurde nicht er, sondern Gott angerufen.

Denn Hanna zu preisen den Schöpfer begann.
Die Tür kam jetzt näher. Er war dicht daran.
Ein Windhauch berührte sein Kleid, seine Locken.
Man hörte das brausende Leben frohlocken.

Er öffnete langsam die Tür mit der Hand
und ging nicht hinaus in das lebende Land.
Er ging in die taubstummen Gründe des Todes
im schwankenden Reiche, entbehrt seines Bodens.

Die Zeit war verstummt, der Bedeutung beraubt.
Er sah nur den Säugling, sein leuchtendes Haupt.
Und Simeon trug dieses Licht in der Seele
hinaus auf den Pfad in die finstere Höhle

des Todes. Er trug dieses Licht vor sich her
hinein in die Nacht, auf den Pfad, der vorher
noch niemals beleuchtet war. So schritt er weiter.
Das Licht ging nicht aus. Und der Pfad wurde breiter.

* * * *

Liebste, ich ging heute abend noch einmal hinaus.
Luft vom Ozean wollte ich atmen dort draußen am Hügel.
Wie ein chinesischer Fächer schmückte der Abend sich aus,
eine Wolke türmte sich hoch wie ein Deckel vom Flügel.

Ich erinnere ein Vierteljahrhundert oder noch mehr,
wir gingen zusammen. Damals hattest du immer so schnippisch
geredet.

Hast gemalt und gesungen. Doch dann kam dein Chemieingenieur,
und nach den Briefen zu urteilen bist du jetzt furchtbar
verblödet.

Nun sieht man dich oft in Kirchen bei Totenmessen,
für gemeinsame Freunde mal dort und mal hier.
Wie bin ich doch froh: es gibt Entfernungen so unermessen,
so undenkbar weiter als zwischen dir und mir.

Versteh' mich nicht falsch. Ich kann nichts mehr verbinden
mit deinem Namen und Stimme und Leib. Kaputt
hat sie niemand gemacht.

Nur, wer sein früheres Leben muß überwinden,
braucht zumindest ein Zweites. Und das hab ich auch schon
vollbracht.

Doch du hattest auch Glück, denn wo gibt's das im Leben
außer dem Foto, daß man ewiglich jung bleibt und spöttisch und
schön?

Wo Erinnerung fest hält, muß die Zeit sich ergeben.
Ich atme die Fäulnis der Ebbe. Rauchend bleib ich am Uferkai
stehn.

Übersetzt v. Melitta Neumann



Александра СВИРИДОВА

МЫ — РАБЫ

Статья не для читателя о фильме не для зрителя

Энциклопедическая справка: Алексей Герман. Режиссер, народный артист России, дважды лауреат Государственной премии. Родился 20 июля 1938 года. В 1960 году окончил ЛГИТМиК — мастерскую Г.М.Козинцева. С 1964 г. работает на киностудии «Ленфильм». Дебютировал в 1968 г. картиной «Седьмой спутник» (по Б. Лавреневу, совместно с Г.Ароновым).

В 1971 г. Герман поставил фильм «Операция «С Новым годом», в 1976 г. — «Двадцать дней без войны» (по К.Симонову), затем — фильмы «Мой друг Иван Лапшин», «Проверки на дорогах», «Хрусталеv, машину!» Сейчас снимает картину «Трудно быть богом» (по роману Стругацких).

Приз критиков в Каннах 1977г., Премия Жоржа Садуля, Франция, 1977, «Бронзовый Леопард» в Локарно в 1986, награда ФИПРЕССИ, фестиваль в Ля Рошель, 1986, и другие. В конце 1998 года удостоен высшей награды России — премии «Триумф».

На исходе 1999 года Музей современного искусства в Нью-Йорке, МОМА, хранитель одной из богатейших коллекций произведений искусства двадцатого века, приобрел фильм А.Германа «Хрусталеv, машину!» Киноотдел МОМА начал формировать свою коллекцию в 1935 году, первыми закупив ленты Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова. Последней лентой, пополнившей в уходящем веке собрание из 14 тысяч лучших кинолент мира, стал тоже российский шедевр.

В 1998 году Алексей Герман закончил этот фильм по сценарию, написанному совместно с женой, Светланой Кармалитой. Лента была представлена на конкурсном показе Международного кинофестиваля в Каннах.

Производство картины тянулось 7 (семь!) лет.

— Почему так долго?

— Когда в перестройку меня впервые выпустили за границу, я ездил-ездил, и снимать мне вообще совершенно не хотелось. А потом французы подбили. Когда распад кино начался, когда вся нечисть пришла с деньгами и разрушила наше кино, уважение и до-

верие к нему, когда пленка кончилась и электроэнергия перестала поступать — тут-то я и начал снимать эту очень большую картину. И должен был закончить, чтобы француз не вылетел в трубу. Запуск, конечно, был кошмарной ошибкой: все разваливалось, кончались деньги, нас обманывали. Но, как лошадь, которая попала в упряжку, я должен был дотащить этот воз. Поэтому все растянулось на семь лет. И мне до сих пор совершенно непонятно, как я вообще пошел пасти на это минное поле...

Эта лента — вершина художественного кино как искусства. Как кинематограф будет жить, осознав даже не величие, а просто наличие этой ленты — непонятно. Пока же им движет здоровый инстинкт самосохранения, и встречи не происходит. Происходит не встреча. Индустрия кино, как бизнеса, отторгает фильм, как инородное тело, каким по сути и является искусство для бизнеса.

На МКФ в Каннах ложа прессы покинула просмотровый зал через двадцать минут после начала показа. На фестивале в Нью-Йорке профессиональные зрители вышли через час (фильм идет больше двух!). Это естественно для коррумпированных «профи» от кино: Алексей Герман, как всякий обычный гений, нарушил слишком много границ «нормативного» поведения. Его кино вышло за рамки дозволенного денежными мешками. Но и задачу он поставил такую, что ни в каких рамках было не уместиться.

— О чем фильм, Алеша?

— О русских, о нас. О том, что мы такое. Загадка! Но — вот такие мы... О пятьдесят третьем годе. Дело происходит, когда умирает Сталин и никто об этом еще не знает.

— Кто ваш герой?

— Русский генерал. Огромный, красивый, который считает, что все это его не касается — то, что происходит в стране. Все занимают евреи, а его — пронесет. И вот его судьба. Достаточно драматичная и любопытная. Еще там есть иностранец, который приехал, чтоб всем сделать хорошо, а сделал плохо. Есть мальчик, который вроде бы я сам, и чуть-чуть моя семья. Сталин и Берия тоже там существуют, но через призму этого генерала. И так плетутся три линии: генерал, иностранец, мальчик... Мальчик достаточно дрянной. Я, например, никогда не доносил на собственного отца, а в фильме мальчик пытается это сделать. Такая картина нравов Москвы высокопоставленной...

Я слушаю Алексея и сверяю с увиденным. Сходится, но мало. И он не виноват: *словом* в этой ленте действительно можно передать

только фабулу. Невероятность ленты в том, *как* это снято. *Как* художник реконструировал картину мира в момент смерти Ирода.

«Какие же мы?» — я не спрашиваю, потому что вижу: мы — рабы. Это первое, что следует из фильма Алексея Германа «Хрусталеv, машину!» Рабы не чего-то определенного, а абсолютно *всего*: что есть, кто есть — того рабы и будем. Потому что это единственное, что мы хорошо умеем делать: давно привыкли.

Мы — это русский народ. Не этнические «русские», а граждане, обитатели России как государства и территории.

«Вот такие мы...» повторял А.Герман без пафоса и разводил руками на сцене фестивального просмотрового зала в Линкольн-Центре. Просто констатировал факт и предъявлял в доказательство фильм, в котором герой — генерал, столичный военный врач-нейрохирург Юрий Кленский, не очень «русский», так как с татаро-монгольской прорезью глаз, проживает сутки. Выходит утром на работу в госпиталь, сталкивается там со своим двойником-пациентом, после работы успевает на вечеринке у коллеги обронить неаккуратную фразу о здоровье вождя, быть арестованным, садистски изнасилованным уголовниками в милицейском «воронке» и освобожденным!

Генерала в срочном порядке привозят на дачу к Сталину, где под надзором Берии он безуспешно пытается оказать помощь отходящему вождю и — присутствует при том, как Отец Всех Народов испускает дух. Отнюдь не носом...

Но самое главное и страшное, что успевает генерал, это — не похвалить портов, которые урки разорвали на нем, когда употребляли его во все отверстия, подобострастно исцеловать холодеющие руки своего тирана...

Лаврентий Павлович благодарит генерала медицинской службы и отпускает, отдав команду: «Хрусталеv, машину!»

— Почему это вынесено в название?

— Просто потому что это — исторический факт: когда Сталин умер, Берия крикнул «Хрусталеv, машину!» Это все слышали (кто — «все», я не спрашиваю: сказал «все» — значит «все»). Так что никакого тайного значения название не имеет, — объясняет Алексей. — Всего лишь *одна секунда* и — пошла в другую сторону вся история! Потому что проживи Сталин еще лет десять, мы бы тут не сидели: вместо Манхэттена здесь была бы, например, ядерная воронка или радио бы вело репортаж о неплохом урожае на Вашингтонщине... Мы вообще не очень снимали про 53-й — так уж

получилось. Мы хотели разобраться в себе. Например, почему мы такие добрые, что все прощаем друг другу. Вот Анну Ахматову все волновало, что встретятся Россия, которая сидела, с Россией, которая сажала. А потом выпустили людей, все встретились. Ну что было бы в другой стране? Наверное, резня, а у нас — все сказали «спасибо большое» — и все. Вот такие мы.

Слушать текст Германа тяжело. Тяжело соглашаться. Не соглашаться — тяжелее. Потому что портрет твой может тебе не нравиться, но зеркало — не врет. Герман подносит зеркало тебе и печалится вместе с тобой по поводу отражения.

Примиришь с отражением может тезис из посмертной книги российского философа Мераба Мамардашвили (ушедшего в 1990 году): «Сейчас в России критический период в том смысле, что если русский народ сейчас же, каждый по отдельности и по личной своей воле не содрогнется от отвращения к себе, к своему образу, тогда в России ничего не изменится».

Чтобы содрогнуться от отвращения к себе, следует, как минимум, себя увидеть. Именно это помогает сделать А.Герман.

В картине, как в живописном полотне с лиссировкой, множество слоев. Внешний — сюжетный — самый простой. Дальше — тоньше. Ровно ничего не значащая фраза Берии обретает у Германа космическое звучание, когда видишь, что от нее Алексей ведет отсчет нового исторического времени: Жизнь после Смерти Дьявола. Новое время жизни — по Герману — наступает в первую очередь для евреев, к депортации которых из Москвы у вождя все было настолько готово, что остановить неизбежное могла только Смерть. Которая и пришла. Об руку с генералом Кленским.

— Сталин же себе сам смерть устроил, — говорит Алексей. — Цвет медицины сидел, и он самостоятельно лечился: по медицинскому справочнику. Он же плохо себя почувствовал и пошел в баню! Вот и инсульт. А были бы врачи — он был бы жив: врачи бы поняли, что у него высокое давление, и они бы его понижали. Так что, как сказала тетя моего приятеля, когда началась история с врачами: «Плохо его дело: он связался с евреями». Совершенно неожиданный поворот, правда?...

Генерал тревожится о себе не напрасно: он внятно произносит, что следом за евреями пойдут другие нерусские. И небрежно, но прикрывает собой коллег врачей-евреев. Прячет у себя в доме еврейских девочек-кузин, которые скрываются в шкафу, едва кто-то входит в квартиру. Это родственницы татаро-монгольского гене-

рала, ровесницы его сына-подростка. Мелким бисером сыплются детали, и ближе к концу ленты уже безымянные евреи-переселенцы появляются крупно, во весь рост, в кадре. И проникновенно поют оду жизни, так как чувствуют, что смерть их миновала: чудо свершилось! В кадре — чистый Пурим.

Алексей Герман говорит о себе «я — русский интеллигент», не преминув добавить на сцене «Аллис Тули Холла», что он — «полукровка». И общую беду евреев России принимал и принимает близко к сердцу.

Следующий слой воссоздает атмосферу тотальной слежки в стране накануне Великого Сдоха. Следят все, следят за всеми и доносят, куда могут. Фильм начинается с показа невинного подвыпившего человека. Он просто приближается к стоящему автомобилю, который набит агентами наружного наблюдения и... человека хватают, бьют, волокут, арестовывают и сажают. И дальше следят — за иностранцем, идущим по заснеженному городу в дом Кленских.

Слежка становится опоясывающей темой фильма, поскольку повествование идет от лица сына Кленского — худенького мальчика, восходящего к Бурляевскому «Ивану» Андрея Тарковского.

Генеральский сын, у которого все есть, в одночасье лишается всего, когда неинтеллигентного вида дядьки в штатском опечатывают комнаты их квартиры, угощают конфетой и оставляют телефон, по которому велют позвонить, когда появится отец. Отец появляется. И сын идет набирать номер... Он не знает, что отца искали, чтоб арестовать, а тот, который пришел, — уже даже реабилитирован. Отец очень буднично бросает сыну, что звонить уже нет нужды. И — проваливается сквозь землю сюжета... «Отца я больше не видел» — заканчивает рассказ мечущийся по ночной улице подросток.

А зрителя Герман одаривает развязкой: в другой реальности, десять лет спустя выходит из зоны подвыпивший идиот, который был арестован в первом кадре. Садится в поезд и видит в нем — Кленского! Который пересаживается с каким-то мешком картошки на открытую платформу странного эшелона. И там — свой в компании безликих и безымянных спившихся уродов, бывший генерал со следами шрамов и увечий, зато живой, исполняет трюк: широко расставив ноги и приседая на стыках, чтоб не расплескаться, — на пари держит на ходу поезда стакан водки на лысой голове под общий хохот и понукание. Так и уезжает он в глубину кадра,

в глубину страны, в неизвестном направлении с полным стаканом на голове.

Конец ленты. Физический. На метафизическом плане у этой ленты нет конца прежде всего потому, что в ней скрыто много слоев, — и поэтому у нее много концов. Герман подводит итог «прекрасной» эпохи советского сталинизма. И делает открытие, что главным в российском аду было внутреннее состояние. Которое такая коварная штука, что проникнуться им можно не только в Москве 1953-го года, но даже в Нью-Йорке в конце века. Где угодно — была бы готовность и способность к состраданию. Потому в Каннах фильму не оказалось места: не страдать же туда приезжает кинолюди и не сострадать.

— Да и председателем жюри был Мартин Скорсезе, — сказал Алексей. — Было совершенно ясно, что он мне ничего не даст... Я бы, правда, ему тоже ничего не дал...

Перед показом фильма в Америке Алексей старательно пытался что-то дообъяснить, предваряя просмотр.

— Какие-то вещи, которые мы второпях или по высокомерию не разъяснили, — говорил он, травмированный опытом Франции. — Нам казалось, что все абсолютно ясно, а оказалось, что французы, например, про нас вообще ничего не знают. Например, мы долго искали Берия. Нашли на Кавказе очень похожего человека. Долго учили его на артиста, потому что он был певец. Придумали: вот такой Берия. Может, он был другой — откуда я знаю? А оказалось, что из десяти французов девять вообще не знают, кто такой Берия. Я запросто мог пригласить любую женщину на эту роль. Со Сталиным я тоже путался: мне надо было, чтоб он был НЕ похож и похож одновременно...

Алексей полагает, что проблема восприятия ленты в том, что зритель за кордоном России не понимает деталей и подробностей исторического контекста. А дело не в этом. Дело в том, что фильм пропитан болью. Болью героев и болью авторов. Зритель же не для того идет в кино, чтобы, сжав зубы, терпеть боль. Сначала — чужую. Потом — свою, потому что Герман беспощадно ввинчивает зрителя, как лампочку в патрон, в эту воронку чужой боли так, что зрителю становится невмочь созерцать чужие муки. Плюс Сталин и Гитлер — две крупнейшие инфернальные фигуры века. И если Гитлера как тему уже освоили в мировой культуре, то к Сталину до сих пор никто не знает, как подступиться. И это нормально, так как тема Дьявола инфекционна и вызывает естествен-

ное и инстинктивное отторжение и опаску. А потому «Сталин-Берия», «мужчина-женщина», «похож-непохож» — действительно пустяк, когда понимаешь, что Герман в пару к рабу по имени «русский народ» отливает формочку рабовладельца. Создает второй полюс в действующей модели противостояния власти и личности, человека и машины, государственной, бездушной, железной машины, винтиком которой надлежит стать законопослушному гражданину. А не стал — тогда под колеса...

Так фильм из камерной трагичной истории генерала перерастает в эпическое полотно о вечном поединке Ланселота с Драконом, поединке с Системой. О дуэте-дуэли государства и личности. И в качестве образа, наиболее полно передающего оттенки и переливы этих изменчивых, вибрирующих и напряженных отношений, избран коитус без любви, являющийся, видимо, адекватным отображением сути любых тоталитарных режимов. На модели безлюбовного соития, композиционно помещенного в центр полотна, ярко и доходчиво явлен фундаментальный инстинкт Системы: желание власти, которое наиболее полно реализуется в акте сексуального насилия.

На подступах к этой сцене Герман исследует невероятный спектр нелюбовных сексуальных контактов, следуя за героем с камерой до самого дна его падения. Герой проходит ряд испытаний, и все они бьют ниже пояса: запрещенных приемов у Системы нет...

В начале фильма мы видим семью и жену героя, которой делают прозрачные намеки на неверность мужа. Из полунамеков создается атмосфера в доме, где любовному соитию нет места: никто никого не любит в семье — «первичной ячейке» Системы. Может быть, только мальчик — бабушку и собаку...

Далее мы становимся свидетелями того, как генерал на службе «отдается» своей сотруднице. Отсутствие эмоций на его лице в момент, когда сотрудница со страстью ласкает языком верхнюю пуговицу его кителя, выдает обыденность этого почти ритуального действия. Она спускается ниже и на уровне бедер героя покидает кромку кадра. *Что* происходит вне поля зрения камеры — понятно и уже неважно; важнее — остающийся «в поле» генерал, который царственно великодушен: позволяет доставить себе удовольствие.

На патетическом уровне это мета Системы: Система всегда позволяет себя ласкать. И в этой сцене генерал — еще человек Систе-

мы. Пасынок и выкидыш системы врач-еврей, как пес, в этот момент скребет лапой под дверь его кабинета...

Мимоходом касается Герман темы подросткового онанизма. В одном случае неизвестному мальчишке отец — с грузинским акцентом! — грозитя руки отрубить, в другом — изобличен сын генерала, подросток. Эта невинная подробность полового созревания становится знаком формирования социальной, гражданской зрелости подростка в эпоху изменившихся Времени и Места. Система дала сбой и явила себя во всей красе собственной деформированности: чертями из табакерки вываливаются из платяного шкафа забытые там всклокоченные кузины-еврейки! С криком: «Мы видели, что ты с пипкой делал!»

Подросток встает на защиту попранной чести и — проигрывает: во время потасовки девочки стаскивают с него штаны... Сцена с поверженным и оскорбленным сыном — микромодель, прообраз того, что будет с отцом. Две кузины — большинство! — загоняют в угол его — одиночку. Равно как один — против группы — будет стоять и отец.

По мере того, как слышнее становится тяжелая поступь кованых сапог Системы, нарастают цинизм и бесцеремонность внутри любых соитий.

Спасаясь от ареста, генерал приходит ночевать к прислуге. Та открытым текстом просит его «сделать» ей ребенка. Страсть женщины и к генералу, и к продолжению рода понятна, и уродство ситуации еще имеет какое-то оправдание: это соитие образованного грамотного животного, не чуждого рациональному желанию сохранить породу.

Генерал подчиняется и *снова* отдается. Снова — подчиняясь чужой воле к соитию. Мало того, что происходит откат от роли самца и захватчика, — генерал уступает уже не коллеге, не социальной ровне, а своей прислуге, то есть, происходит еще и снижение на ступеньку по социальной лестнице. С большим трудом — на грани фарса — герой приводит себя в состояние возбуждения. И фактически соглашается с тем, что прислуга прямо говорит ему, что его завтра уничтожат.

В фильме вообще много прямых текстов. Прямоговорение, как прямохождение, становится эволюционным этапом в кино Германа. Само кино встает у Германа с четверенок на две ноги. Маугли среди волков — и герой Германа в этом мире, и сам Герман — в мире кино. Вот главный секрет его киноязыка. Обособляясь, вы-

членясь в говорящего таким манером человека, Герман становится иноязыким. Не только в Каннах, но и на родине. Такое уже случилось в российской культуре: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой»... Так звучать должен был Пушкин после Державина и Карамзина.

Главное — внутрицеховое — событие ленты в том, что Кино как визуальное искусство возвращается из изгнания в Литературу. Возвращается на родину и очерчивает границы своей сакральной территории — территории священнодействия, доступного только кино. Потому что в каждом кадре видно, что не словами режиссер ставил задачу перед этими не-актерами.

— Я взял урок, и они мне говорили: «Эй, начальник, тут он так животом не сыграет... Тут надо колено ставить...» А про лопату мне рассказал Илюшка Авербах...

Здесь начинается самое главное и страшное. Следующим уровнем, на который сползает планка соития без любви, становится соитие без согласия: насилие. И Герман дает его.

... Генерала «берут». И в крытый фургон, в котором везут генерала, Система запускает отряд уголовников. Безобразных, деклассированных советских граждан, мобилизованных на уничтожение человека в духе — до отдельной команды, когда прикажут уничтожить в теле. Генерала «опускают»: зажав в грузовике с двух сторон, его насилуют спереди и сзади, в оба отверстия, насилуют долго, проникновенно и сладострастно — с любовью, но не к генералу или к сексу, а только к делу насилия. Акт насилия дан внятно, но без натуралистических деталей и подробностей, так как А. Герман исследует модель взаимоотношений «Система — человек», а не «человек — человек», а уж тем более не «мужчина — мужчина».

Мотивация Системы ясна: генералу, как каждому члену общества, показывают его место. А «место» любого гражданина находится там, где Системе удобнее поставить его на колени и употребить в рот и в анус, цинично и беспощадно. Степень гуманности подобной Системы измеряется только бесчеловечностью, которой Система способна достичь по отношению к Личности.

Это единственный в фильме акт с настоящей страстью. Потому, что генерал для Дна — представитель Системы! И это — час реванша: Система держит Дно на коленях, но сейчас оно может ответить Системе взаимностью.

Когда же генерал с остервенением употреблен всеми, представители Дна, смазав чем-то черенок лопаты, используют его, как фал-

лос... Всаживают в генерала и рвут ему внутренности. Это — апофеоз системы.

О котором охранник минуту спустя насмешливо говорит: «Ну что, порвали тебе жопу?..»

Текст звучит для тех, кто не понял, что было в полутемном кадре.

Генерал ревет, как раненый зверь. Оскорбленный, униженный, изуродованный морально и физически...

В стиснутых рамках кадра, снятого внутри грузовика, Герман дает оргазм пахана. И оргазм, и сам Пахан одновременно существуют в реальном и в образном планах. Очевидно, что Пахан — менее всего персона, прежде всего это должность, статус внутри системы. Любой: на зоне или в Кремле. Где бы Пахан не сидел, суть его одна: подавление личности. И одно отношение к элите: презрение. Именно это символизирует раблезианское сладострастие, с которым Пахан сливает сперму в рот представителя элиты, который ею захлебывается.

Герман не щадит зрителя, передавая энергию насилия Власти.

Потому что сам хорошо помнит, как Система насильовала его. Теперь его час показать Системе, что он все про нее знает, помнит и понимает.

— Это, может, и не обязательно — быть битым. Можно быть талантливым и не битым... Моцарт же как-то существовал без запретов и остался Моцартом, но нас — били. Самым битым человеком была Кира Муратова. Ужасно битым был Александр Аскольдов, и очень битым был я. Помню, когда «Проверку» клали на полку, сидел напротив меня директор и плакал — все лицо залито слезами! — и говорил: «Леша, я сидел. Я страшно сидел: меня били! Теперь меня снимают. Порежь ты эту картину — я тебе другую дам». А я сидел напротив него и тоже плакал и говорил: «Я не могу». А был бы жив мой отец, он бы заставил меня порезать. Потому что он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей. Ужас ведь был!.. И такая же история была с «Двадцатью днями». А на «Лапшине» через два часа редактор была отстранена от должности, а позже телеграмма пришла: «Всех виновных в изготовлении картины строго наказать».

...В момент полного морального уничтожения генерала его — кожаным мешком с костями — выбрасывают за городом из крытого «воронка» на снег. И сообщают, что он реабилитирован... Ге-

нерал ползет, сгребая руками снег в кучу, чтобы сесть в него рваной раной... Бросается к полынье, в которой можно ополоснуть рот... Его весело не топит, а слегка — чтоб подрыгался — притапливает вохра на радость уркам... И пока генерал возвращает себя к жизни, происходит «душевный» обмен невнятными репликами между уголовниками и охраной. Так открывается степень их близости: через блистательный пустой диалог с единым сленгом. Это самое страшное и опасное открытие картины: собирательный образ Системы. Что делает ее актуальной и интернациональной.

Очевидно, что все, проделанное представителями Дна с представителем Элиты, согласовано со средним звеном — администрацией. Дно сработало четко в пределах отведенной ему компетенции. Этот момент единения Дна и среднего звена в ненависти к верху делает Дно и среднее звено взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Так утрачивает последний смысл условное разделение на «свободных» и «заклоченных» в СССР: законы на воле и в зоне царят одни. Герман лишает зрителя последних иллюзий и повествует о том, что низ, верх и среднее звено в каждой из своих частей не пытаются даже задуматься над тем, что неверна Система. Пафос героев состоит в том, что они недовольны системой только когда система насилует их самих. Когда это делают они — это торжество справедливости. И пока человек приспособливается к ней с тем, чтобы коитус приносил меньше терзаний, конца этому не будет. Кто-то должен встать с колен и возразить системе. Предложить Власти мысль о том, что хорошо бы жить в любви. А если не в любви, то хотя бы в согласии. Это будет не рай на земле, но некая принципиально иная форма общественного бытия и сознания. А пока никто ничего не меняет в системе — только в положениях тел, — за человеком остается право побега из Системы и отказ от своей социальной роли, что и делает, в конце концов, генерал...

Но прежде он проживает до конца роль генерала. Ему — с разорванными потрохами — здесь же на снегу, у полыньи, возвращают генеральскую шинель и сообщают, что он может продолжать функционировать в прежнем качестве: представителя элиты.

Генерала привозят на дачу Вождя. Состояние, в котором находится генерал, позволяет ему сразу не понять, что перед ним Сталин. Сразу генерал понимает только то, что пациент лежит перед носом у сиделки в дерьме. Но когда со второго взгляда генерал видит, кто перед ним, он целует руки «пациента», раболепно склоня-

ясь перед Властью. По воле которой с ним было только что продано все, чему мы были свидетелями.

Герман моделирует ситуацию, в которой его герой фактически целует руки тому, кто порвал ему потроха черенком лопаты не впрямую, а опосредованно: пахан Кремля — через пахана Дна.

Это — шок. «Вот такие мы...» — бормочет Герман и разводит руками.

Сознание этого не вмещает. Требуется определенное усилие, чтобы проглотить увиденное. Слов нет. Сила, страсть и мощь этого фильма проявлены в том, *как* здесь больше не работает слово. Есть звук, но не речь. Это шумы ада, в которых различимы отдельные слова. Вникать в них бессмысленно: нужно погружаться в состояние, а не в подробности слов.

— Это кино может быть понятным, может быть непонятным, но мы настаиваем на том, что оно — понятное, — глухо, но убежденно говорит Алексей Герман. — Кино для меня — искусство пластики, выразительности лиц, игры. Потому и такой звук. Задача у меня стояла такая, — чтобы звук переходил в шум. Так что это специально: такое месиво звука...

Я слушаю и поражаюсь тому, как он прозорлив в своей правоте. Потому что действительно: «В начале было слово». Нынче — конец. Конец века, эпохи. В конце дают картинку. На картинке — Сатана. Его дела. И — смерть Сатаны. Именно в этом оптимистический пафос ленты.

А. Герман настолько отчаянно уходит в язык кино, что разводит звукоряд и видеоряд. Небрежничает в устной речи: не очень следит за чистотой звука и артикуляцией. Но это — небрежение интеллигента: он не уродует язык, а отказывается от него. Не может отказаться совсем, потому что это единственное средство коммуникации людей с людьми, но и не скрывает, как тяготится подобной формой контакта — языком слов. Язык пластики, жестов говорит Герману больше. Потому он сам так невыразителен в движениях и жестах: чтоб не выдать тайных мыслей. Его формы внешнего контакта — это формы контакта человека другой языковой среды. Так в Тибете существует граница, пересекая которую, паломники приближаются к святому месту на такое близкое расстояние, при котором запрещено говорить на обычном языке людей. Пребывание на сакральной территории Бога требует *тайного* языка. Например, идущие за солью на священное озеро, переходят на *язык соли*. Для Алексея территория кино са-

кральна. За воротами «Ленфильма» он переходит на язык своей соли — язык кино.

— Насколько сценарий и фильм историчны?

— Об историчности скажу словами Ходасевича. Он писал, что история царствования Павла Первого никогда не будет хорошо известна, потому что писалась его убийцами. Поэтому с историчностью дело трудное. Но мы просчитали многое: где, когда Сталин умер. У Авторханова получается, что 1 марта. Потому что раздувалось очень сильно «Дело врачей» и страна этим просто жила, а 1 марта вдруг — хоп! — это из центральных газет исчезает. Из чего Авторханов делает вывод, что 1 марта Сталина уже нет. Мы встречались с замечательным американским журналистом Солсбери, который жил в то время в Москве. За два дня до того, как Сталин официально умер, Солсбери получил телеграмму о прибавке жалованья. Каждые несколько часов шла такая телеграмма. По договоренности со своим руководством такую телеграмму он должен был получить только если генералиссимус «Ек». И Солсбери носился по Москве и ничего не мог понять: все было, как всегда. Кроме черных машин, которые у меня мечутся по городу... Конечно, это не Солсбери ездит, а Политбюро. Но это та самая тема: «что-то случилось, что-то случилось...» Известно из воспоминаний многое. Если сопоставить, как они все врут, можно обхохотаться. Один говорит, что Сталин пожал ему руку в последний момент. Другой — что тот указал на какого-то ягненочка на картине. Третий — что никакого ягненочка не было и что Сталин просто погрозил кулаком. А есть интересные воспоминания одного из «врачей-убийц» — Раппопорта. Им в тюремную камеру принесли и раздали дело неизвестного больного. Они сидели в таких наручниках, что если шевельнешь рукой, те еще сильнее защелкиваются. С них сняли наручники и велели писать, как лечить. Раппопорт, который был не очень практичный человек, прочитав историю болезни анонима, написал: «Необходимо срочно умереть», — так как мозги после инсульта были в таком состоянии, что у Сталина был единственный выход... Так что никакого пожатия рук не было. А то, что там Светлана Аллилуева старательно пишет, так я бы не стал верить ни одному члену этой семьи. Точно известно, что рядом со Сталиным была сиделка с красным лицом, что он лежал в собственном дерьме и что при сем присутствовал еще какой-то высокий военный — совершенно неизвестно кто и что.

Как тут не вспомнить, что Ингмар Бергман на вопрос о замысле картины «Персона», отвечал, что однажды в кафе увидел двух женщин в одинаковых шляпах и подумал: «А что, если одна из них немая?» А великий роман «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст написал, откусив маленький кусочек бисквита...

«Высокий военный» — вот то, что позволило Герману-Кармалите создать образ генерала Кленского...

— Насколько личный этот фильм?

— Мне исполнилось 60 лет. Время подводить итоги. Света моложе, но тоже не девочка. Желание делать такую картину объяснено словами бабушки в кадре: «Я так много помню, так много знаю. Как жаль, что все это уйдет вместе со мной». Я вырос в семье известного писателя, Света — известного критика. Видели немало. Здесь много из наших биографий. Конечно, нам очень хотелось написать про свое детство, что мы любим, чего не любим, как мы представляем себе *то* житье, и внедрить в это дело сюжет со Сталиным. Что мы и сделали. В фильме — моя семья, наша собака... Это я там ползаю под столом. Конечно, хирург — не мой отец, и я на отца не доносил... Но мы взяли похожую семью, шофера, домработницу и допустили гипотетическое «что бы с нами могло произойти». Это в моей семье появился в доме гость из Швеции — журналист, лефтист. Он очень дружил с моим дядей, братом моей матери. Евреем и монархистом, как ни странно, который бежал за границу. Дядя дал шведу строжайшие инструкции, как нас найти, как аккуратно узнать, живы мы или нет. А швед выпил и все забыл. Но нас пронесло. А фильм построен на том, «что было бы, если бы...» Ну, как минимум, отца бы моего расстреляли... Я счастлив, что меня не будет, но будет нечто, чему я был свидетелем. Эта лента — на длинную дистанцию. При всем ужасе там есть любовь к нашему странному народу, который умеет все прощать. Моя самая лучшая фраза в картине: «Махнемся трубками, генерал? На память!» После изнасилования, после всего — еще этот чудовищный двойник с такой же трубкой, как у генерала!

Я бы не хотел больше снимать кино. После каждой картины меня увольняли. А на этой — все разваливалось, кончались деньги, нас обманывали... Поэтому все растянулось на семь лет. Но мы сделали фильм про то, что мы любим. Это не значит, что мы любим Сталина или Берию. Это значит, что *там* остались наши родители, их молодость, мы сами. Мы пытались сделать беззлобное кино. Оно все равно получилось злобное. Но мы старались. Так,

что даже газета «Монд», которая напечатала статью «Гора родила мышь», — и та написала, что Герман не определился в своем отношении к Сталину. Как же не определился? Мы понимали, что Сталин — страшный злодей, но и злодей может помирать в собственном дерьме.

И злодей перед Богом — ничто.

Так Алексей Герман окончательно обнажает структуру конфликта, с тщанием демиурга разводя в разные стороны хляби земные и небесные: Бог и Злодей — вот полюса его драматической коллизии. Бог без лица и Злодей с лицом Сталина. Бог в полном одиночестве в небе над ночной промерзшей Москвой и Дьявол в собственном дерьме... Вот оно — пространство и время, в которых зажат герой. Так еще на одну ступеньку поднимается величие и масштаб замысла авторов. И как бы А.Герман и С.Кармалита ни полагали, что рассказали лишь о том, что видели *они*, — но ими рассказано еще и за тех, кто уже не может ничего рассказать сам, но может видеть с неба, что авторы рассказали все, как следует. Герман сумел, став устами тех, кто уже никогда не заговорит, засвидетельствовать, что *это* — было. И называлось социализмом, коммунизмом, счастливым детством — этот крошечный ад, который теперь внутри нас и от которого нет спасения. Фильм — редкий случай эпического полотна, созданного средствами кино. Автор этого эпоса — Зритель. Тот, который никогда не увидит фильма, потому что убит. Десятки миллионов тел уничтоженных граждан выстлали эту дорогу ужаса, которой проходит на экране герой Германа между Богом и бесом.

Из всех известных мне сегодня художников, Алексей единственный, кто чист — чист, как Везувий после извержения, потому что сумел извергнуть из себя этот ужас. Теперь они разведены — Герман и ужас, Герман и власть. И будут жить и умирать отдельно. Ужасу будет очень одиноко без Германа. И отныне ни одна версия того, что с нами было, не найдет себе места, потому что Герман закрывает тему. Закрывает тему ужаса на территории Москвы и СССР в XX веке.

— Как вы работали с оператором, какие слова ему говорили, чтобы все выглядело на экране так выпукло? Как рождается образ?

— Я терпеть не могу этого оператора. Но он человек очень талантливый. Мы что-то всегда долго обсуждали, потом очень ссорились, я клялся, что на этот раз его выгоню. Потом Светлана нас

мирила, и мы что-то снимали и переснимали. Я не знаю, как. Здесь, в Нью-Йорке живет мой художник, с которым мы делали «Лапшина», Юра Пугач. Как мы с ним работали? Не знаю. Что-то рисовали, выстраивали панораму... Но там был чувственный оператор, а здесь — мне приходилось чувствовать за него. Зато он очень владел композицией... Вообще он очень сильный оператор, но на этой картине он был пятый или шестой. У нас ведь трагедия была: я работал много лет с Валерием Федосовым. Очень его любил, а он — умер... Очень нас подвел.

— Что будет следующим в работе и в жизни?

— Следующим в жизни — вернуться на родину и посмотреть, что там происходит... Я начал картину при коммунистах, все время проснимал при демократах и — опять сдавать ее при коммунистах! Такой своеобразный рекорд Гиннеса. А если там, на родине, все как-то образуется, то мы будем снимать либо «Трудно быть Богом» по братьям Стругацким, либо двух императоров. Просто хочется порассуждать о Петре Первом и Александре Втором. При одном население России уменьшилось на треть, в церкви практически была упразднена тайна исповеди: священники должны были доносить — и доносили исправно все это время... И при этом Россия стала великой державой, вышла к морю... Ценой дикой крови. И вся страна — в памятниках Петру! А второй — отменил рабство в стране, ввел равный суд, какого не было нигде в мире: можно было губернаторов в суд потянуть. К собственным убийцам пошел спрашивать, зачем они это делали. И ни одного памятника ему — хоть тресни! И интеллигенция его ненавидела. И вот как разобраться, что это такое? Вообще идей много — были бы деньги...

— Кого вы любите из современных режиссеров — американских, российских? Что вообще думаете о мире кино?

— Американских режиссеров я не знаю. Я просто засыпаю под Чака Норриса. Прекрасно знаю, что здесь есть замечательные режиссеры — Богданович, Боб Фосс. И картины их мне очень нравятся, но все равно мне все перекрывает «Рим» Феллини или Тарковский... Я понимаю значение американского кино, без которого кино вообще бы умерло, так как это — мотор всей киноиндустрии. Но мне трудно... Я вообще привязываюсь к нескольким вещам в этой жизни и их уже всю жизнь и люблю. Русские режиссеры... Плохо дело, я бы так сказал. Потому что они обществом не востребованы. Не нужны обществу. Я руковожу маленькой студией экспериментального фильма. У меня есть два очень одаренных

студента, и они не могут достать денег: всем наплевать. В Ленинграде мне нравится Сокуров. Не всегда и не весь, но хотя бы тем, что он работает душой, а не чем-то другим... Мастера моего поколения мне не нравятся — то, как они работают сейчас. Михалков ранний — нравился, нынешний — не нравится, хоть он и помог мне очень... Есть Отар Иоселиани, но он как бы не русский режиссер уже... Делает грузинское кино — и во Франции. Хотя феномен грузинского кино вообще существовал лишь потому, что его любили не грузины, а русские. Грузинам вообще было наплевать... Так, что я однажды в гостях в Сухуми подрался из-за того, что они не знали, кто такой Иоселиани. С молодыми — плохо. Может, конечно, это у меня возрастное... Не знаю. Снял молодой Тодоровский «Любовь» — и были большие надежды, а потом все хуже и хуже. Но если сравнить его с молодой Муратовой или Авербахом в том же возрасте, Балаяном, Миттой — то это просто смешно. Сам я нравлюсь только моей жене. То есть из нас двоих я сам себе не нравлюсь. Про «Хрусталева» сейчас мало понимаю. Пройдет какое-то время — что-то пойму, а пока — ничего не понимаю! Хотя, знаю, что в отличие от «Лапшина», это — фантазмагорическая картина, и когда несколько газет подряд написали «Босх», я согласился: ну, Босх... Он действительно мой любимый художник. Нам надо было что-то любить. Современность мне полюбить трудно — нет притяжения... У Светланы было то же самое, но ей проще: у нее есть ребенок...

— У нас ребенок, — поправила Алексея Светлана.

— У нас есть ребенок, — согласно кивнул Алексей. — Он пошел снимать про сейчас... А я себя в сейчас не представляю... Я, например, могу себя представить в средние века, но в нынешнее время я себя представить не могу.

— Существует ли некая внутренняя связь между «Хрустальевым» и «Лапшиным» или это только зрительская аберрация?

— Есть, конечно, связь. Но если отстраниться, то мне кажется, что эта картина крупнее, чем «Лапшин». В «Лапшине» и задачи стояли простые: про папу — про маму. Я там ребенок, который еще не родился... И герой другой: дурак, но надежный, верный. Другом его иметь хорошо, но встречаться надо пореже... Он и жертва, и палач одновременно. Сам создал тот режим, который его убил. Он болен, и у него случаются припадки, в которые он чувствует: что-то не так. Но усомниться для него — это умереть. Он как муравей: умрет без муравейника. Он наивнее: в тридцатые

годы они все думали, что владеют ключами от счастья, а ничем не владели: это была ложная идея... Этот же герой другой... И задача другая: про русских... «Лапшин», правда, четыре года полежал и стал приемлемым. Этот бы полежал и тоже — был бы, но у меня уже нет времени. А пока — он будет очень раздражать.

Фильм действительно раздражает. Законченностью, той степенью совершенства, когда его можно не показывать. Это свидетельствует о правоте М.Бахтина, который говорил, что «художником движет потребность объективировать себя в творчестве». В этом фильме Германа больше чем в самом Германе. Ему удалось с невероятной полнотой объективировать себя в этом фильме. И себя-кинematографиста, и себя-личность. И если Герман-субъект ограничен во времени и пространстве земной жизни, то фильм как Герман-объект будет жить дольше субъекта, создавшего его. И если все предыдущие фильмы были созданы Германом-автором, то автор этого фильма — Создатель, воспользовавшийся Германом как инструментом. Он и придал законченную форму и фильму, и самому А.Герману.

Это — кино-версия эпохи, как были литературной версией века Джойс — в англоязычной культуре, Пруст — во франкоязычной, Музиль — в немецкоязычной. Алексей создал русскоязычный вариант версии. Не в литературе — в кино. Но степень мастерства внутри ремесла оказалась абсолютно на уровне, которого достигли гении старшей Музы.

Фильм настолько живое существо, что может сам по себе жить на белом экране, а зритель — сам по себе. Хоть за стенами кино-театра. Фильм существует. Бытийствует. Длится. Платформа с героем уезжает, и там где-то за стенами кинозала герой стареет. Его сын вырастает, становится зрелым мужчиной, который помнит, как шел к телефону доносить на отца... Умирает не только Сталин, а даже и Лаврентий Берия, и никому неизвестный Хрусталев. Остается в живых новое время, отсчет которого начался с команды «Хрусталев, машину!», осознание же этого обстоятельства времени пришло 45 лет спустя и то не само по себе, а потому, что Герман привел его за руку.

Герои Германа на экране вызывающе независимы и нисколько не нуждаются в зрителе. Той жизни, которой живут герои, нет. Она миновала. И когда загорается свет и зритель высыпает на улицу, он не встретит нигде этих героев. Не только потому, что зритель — в Америке, а герои — в России. Нет! Герои уехали на поез-

де. Не в пространстве — во времени: укатили в светлое будущее. Которое и есть мы.

— У вас есть какие-то специфические требования к актерам, когда вы отбираете их на роль?

— Предпочитаю таскать артистов из Сибири. Столичный актер всегда вынимает любое выражение лица из кармана. У него есть в запасе двадцать-тридцать лиц, и сбить его трудно. А мне интересней лицо — найти.

— Как например?..

— В «Лапшине» я искал актера с печатью смерти на лице... Как есть животные из «Красной книги»: сегодня они еще существуют, а завтра — вымрут. Мне нужен был человек, которого убьют. И, к сожалению, я угадал: отстоял у гроба у одного и у другого... Но вообще всех актеров, когда начинаем картину, я всегда сначала загоняю в ситуацию, в которой они сразу бегут! Кто-то убежит, а кто-то останется. И вот те, кто уцелели, — с нами работают дальше.

— Нос вытри! — диким голосом командует генерал со стаканом на голове случайной подружке, требуя, чтобы она вытерла нос — ему. Это его последнее слово, которое достанется зрителю.

Но это еще и авторский окрик залу, не фестивальному в Каннах — другому, который будет рыдать напролет всю картину по всем городам и весям России, Украины и остальных бесконвойных ныне бывших узников социалистического лагеря по всей Европе, узавая все и всех без Лешиных пояснений.

— Это мы... вот такие мы... — бормочет Леша и, мягко ступая, идет на посадку в самолет.

Уезжает тоже. Домой, в Россию. Вот такой он.

Как легендарная машинистка Томаса Манна, печатавшая «Иосиф и его братья», я говорю авторам спасибо за то, «что я теперь, наконец, знаю, как все было на самом деле». Спешу вдогонку договорить то, что не успела при встрече, и снимаю шляпу перед мужеством их, согласившихся быть не понятыми во имя единственной цели: не погрешить против собственной правды. Фильм возьмет свое. Планка, поднятая им в кинонебе, будет отныне отмечать высоту, на которую смогло подняться искусство кино в XX веке от почти базарного трюкачества.

Постскриптум: в Одессе запрещены земельные работы подле горы Чумка, где погребены умершие от чумы. Даже и по прошеств-

вии сотни лет не исключено, что вибрион чумы можно «разбудить». После просмотра фильма опасно оставаться в зале, опасно дотрагиваться до экрана: такие энергии гуляют по полотну. *Такое* А. Герман вызвал и вернул к жизни. Потому что пока кружат черные машины политбюро по заснеженной Москве, Сталин жив. Даже в Нью-Йорке, даже полстолетия спустя..

Постскриптум второй: кинопослание Германа-Кармалиты откликается гулким эхо на предсмертный призыв Мераба Мамардашвили: «Интеллигенция не выполнила свою функцию и роль, которые вовсе не в том, чтобы облаивать компартию... Ее долг — видеть процесс разрушения в нации, говорить об этом народу, призывать его на путь очищения. Народ должен внимательно посмотреть на себя в зеркало, устыдиться своего облика, бахвальства и бездельничанья, своих рабских реакций и стереотипов; устыдиться своих умерших и задуматься: кем я был все эти годы? что я делал? кому верил? за кем шел? Должен содрогнуться от стыда и отворачивания и тогда перед ним откроется путь к свободе, свободе, которую надо построить, так как лишь от прочувствованного стыда родится энергия возрождения. Именно поэтому необходимо, чтобы кто-то каждый день говорил своему народу: захотел вождя — осторожно! Знай — это рабство!»



Елена МАДДЕН

ЭТЮД О МЫШИ

В пушкинских «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»:

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?

Темное, ночное, невидимое, угрожающее. Вязкое, как сон, опутывающее, спутывающее мысли. Напряженно-беспокойное, томительное, как не отпускающая бессонница. Однообразно-неостановимое и безразличное, как уходящее и походя убивающее время. Безликое и неумолимое, как фатум. Притворно ласковое — и равнодушное, невнятное, бессвязное, пустое, как обещания женщин или распределяющих судьбы парок. Еле слышное, как дыхание, слабое, как пульс; незащитное, уязвимое, жалкое, как сердце. Слепое, ничтожное, серое, безрадостное и бесконечное, как житейская суета. Не утоленное, безысходное, тоскливое, как вопрошание о смысле «всего»... Тягостное и доводящее до отчаяния, как бремя безотрадной жизни; случайно приоткрывшаяся страшная изнанка ее.

Из этого круга ассоциаций черпали многие из тех авторов, в прозе-поэзии которых появляется этот малозаметный, но многозначительный образ: мышь.

Пример «для затравки» — мандельштамовские мыши: те, что «точат жизни тоненькое дно...», и та серебристая, что «взята на прикус» пирующим сердцем, — все то же уходящее время, суета жизни, шум. (Еле сдерживаемое торжество во втором стихотворении прокомментировала Н.Мандельштам: в начале 1931 г. О.Э. был вынужден жить у брата в Москве, в перенаселенной квартире; только ночью мог наслаждаться тишиной — «запрещенной тишью» — и Одиночеством, писать, отсюда и «взятая на прикус» мышь-время.) По Н. Струве, «взятая на прикус»

мышь — образ «остановки, неподвижности времени»; в нем предполагается «антитетическая реминисценция» пушкинских стихов о бессоннице.

Мышь и гностический миф. Шум.

Мышь: суета жизни, время, судьба. А противостоит — душа или разум, культура... продолжение спрашивается само собой: литература, писательство.

«Дверь с надписью на зеркальный выворот: «Канцелярия» — была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь».

Кажется, все просто; попробуем усложнить.

Профессиональные читатели «Приглашения на казнь» Набокова довольно скоро открыли, что в этом тексте не только замесел, но и отдельные слова ждут разгадки. Более того, тайны кроются уже в буквах. Буквы, так сказать, сопротивляются буквальному пониманию.

Значимость (церковнославянских) имен букв, буквенного облика, звуковой символизм — об этом подробно писал Д.Бартон Джонсон. (Рай для филолога, солнечная полянка, на которой хочется задержаться, как сказал бы Набоков. Здесь и «сам» Бартон Джонсон не все заметил.) Вот образец набоковских алхимических опытов над буквами-материалом. Цитата: «Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неумно воющий ужас, держит меня и теснит».

«Тут»: лексический, слуховой, визуальный символ. «У» в этом «тут» — «воющий ужас», он повторяется и в звукописи фразы: тттуууууттт — вой, запертый в четырех стенах, эхом отражающийся от стен и — обрывающийся в тупике камеры. «Т», с двух сторон запирающие слово «тут» и фразу, вместе с названием буквы («твердо»), подсказывают зрительный образ: стены твердыни-крепости; или так: два широкоплечих тюремщика, твердо стоящие на ногах, подхватили под мышки, сдавили с двух сторон безжизненно повисшее тело узника («у»)...

П.М.Бицилли в одной из рецензий о «Приглашении на казнь»

написал: состоялось «возрождение аллегории». Аллегория жанр хотя и забытый, но даже и для непроницательного читателя легкий: идея автора маскируется не для сокрытия ее, но для выразительности. Идея автора — явлена.

Однако именно в этом набоковском романе, как, может быть, ни в каком другом, автор самоустраняется, у скромняется, почти сливается с героем. Входит в его положение, вживается в роль — хотя и не забывает, для какого сценария роль написана. Горизонт заволокло туманом, но в просветах все же видно, куда ведет тропа, к которой герой выбрел-таки. Смысл «Приглашения на казнь» — не «идея», но путь, тропа. Узкая, то и дело исчезающая из виду, — поневоле приходится двигаться вперед не спеша, осматриваясь и вглядываясь; немногим удастся пройти до конца.

С. Давыдов первым заметил, что набоковское произведение связано с гностическим мифом, где противостоят светлое, лучевое, «пневматическое» — и темное, гилетическое начала; космос создан злым демиургом, душа, как в тюрьме, заперта в мире материальном, в теле (и в «темнице языка», как напоминает Бартон Джонсон), она спит; но может проснуться, вернуться к своему первоисточнику — и спастись от смерти; письмо, писание (рукопись героя) — путь, помогающий пробудиться от сна земной жизни (без страха шагнуть в смерть, как на порог подлинной, вечной жизни). Нужно только уметь правильно назвать мир вокруг.

Р.Лахман добавила: роман связан с целым комплексом традиций: помимо гностической, это герметическая, каббалистическая, алхимическая... В набоковском тексте оживает представление о том, что алфавит, слово, имя — заданный свыше шифр мироздания: познание Имени ведет к Богу, буквы создают мир и управляют им. Вот почему так важна в романе буквенная игра. (Аналогия из заметок Соссюра, опубликованных и откомментированных его последователями: в древних текстах Имя Бога прямо не называется, но оно зашифровано поэтически, в анаграммах, — на словах лежит как бы отблеск священного имени.)

Правда, интерпретаторам «Приглашения на казнь» пришлось оговориться: Набоков «перекодирует» или парс-

дирует гностический миф «эстетически». Автор романа сам выступает в роли творца (пишет Давыдов), причем сочетает магию с игрой (добавляет Лахман). «Миф» Набокова — «переписывание» мира, позволяющее сотворить мир заново.

Итак, слова и буквы (их названия, вид, игра с ними) у Набокова проясняют нечто в мире искаженном (будь он продукт злой воли демиурга или бред сонной души) и указывают путь из него. «Призраки. Обратни. Пародии» — если видна пародийная, искаженная сущность этого мира, если ясно, как он написан, можно его переписать (обратить в призрак).

Что же такое в этом контексте «мышь»?

«Надпись на зеркальный выворот» в тексте — подсказка, указатель выхода. Поиграем с буквами, попробуем принцип палиндрома.

Мышь — ...шум. Неорганизованный звук — анти-речь, анти-письмо (анти-смысл). И в самом деле. Блеск луны на чернильнице; шелест, шорох, шебуршание, шуршание, треск смятой, царапаемой и разрываемой бумаги... Так появляется мышь — суть, олицетворение этого мира-темницы, жизни без смысла. Шум жизни, помеха писательству.

Мышь — метонимия жизни, прямая отсылка к ней, в отличие от других, опосредованных (мерный стук маятника говорит о неумолимом ходе времени — и в итоге о жизни; *бабье лепетанье* напоминает о бессвязных, кажущихся бессмысленными речах судьбы — и, значит, о жизни...).

Шум (жизни, *шум времени*), который предстоит превратить если не в мелодию, то в молчание. Если не появится искушение кардинально переоценить ценности... Но не будем забегать вперед.

Природная стихия, подсознание. «Реабилитация» мыши?

То же исходное противостояние, только в координатах «культура (цивилизация) — природа». Мышь «означает» агрессию темных начал природы, разрушение культуры, одичание, смерть.

У Сергея Вольфа:

... И город порос тростниками, и сажай, и паром,
И голые девушки ходят по голым бульварам,

И голые крыши, никак, покрываются мхами,
И голые мыши сучат в подворотне ногами.

Мышь в одном из снов Свидригайлова перед его самоубийством.

И — «тошный сон» Дариньки в «Путях небесных» И.Шмелева: дохлая мышь в красивом, прозрачном, будто фарфоровом яичке. Сон, предвещающий события (искушение, «томление грехом» — и помрачение, «душевное иступление», «провал сознания», утрату воли: подпадение власти стихии или «власти плоти», «власти темных сил» — «гадость», «грязь», «ужасная яма»).

Драма, участником которой выступает мышь, переносится внутрь человеческой души. «Подпольность» и ночная природа мыши отсылают к глухим углам психики, подсознательному — влечениям, вытесняемым с поверхности души, «дневной», контролируемой разумом.

По-другому — в балладе Саути «Суд Божий над епископом» — в русскую литературу она вошла в переводе Жуковского (под тем же названием). Стихия, затопленные нивы, голод; скупой и жестокий епископ, созвав бедных, сжигает их в сарае: «шутка» призвана избавить окрестности от «жадных мышей». Неожиданным поворотом оказывается возмездие: нашествие мышей, сжирающих и хлеб, и вещи в замке; спасения от них нет нигде. Конец баллады — смерть епископа от мышиных зубов. Здесь мыши восстанавливают справедливость, подобно Немесиде (она, кстати, как и мышь, дочь ночи).

Кое-кто, таким образом, готов «реабилитировать» мышь.

Мышь и книга. Парадоксы

Книга и мышь почти немислимы друг без друга (мышь... порча книг...).

Правда, и здесь есть оригиналы, все выворачивающие наизнанку, в том числе и отношение к мышам (вместо отвращения и ужаса — сочувствие и оправдание).

Мышь-жертва — в замятинском рассказе «Мамай». То есть сначала игра идет по правилам: мышь шуршит где-то под полом, интеллигент-книжник, само собой, пере-

живает: главное сокровище, библиотека, в опасности. В глазах этого нового язычника, идолопоклонника, его солнце затмевает все на свете: не только скучную службу, но и хлеб насущный, и Будду-супругу, и разруху, и предстоящие ночные дежурства с оружием. Драма (если не хуже: трагедия) предрешена, и вот разлетевшееся действие застывает в картинной сцене: скорченный гномик (вид сверху: тыквенная лысинка) — внизу, под квадратиком паркета, бумажная труха, в которую обратились заветные четыре тысячи двести (скопленные для приобретения вождельной «Душеньки» Богдановича: раритет! один из четырех сохранившихся экземпляров шестого издания!).

Любопытно, что у Замятина немая сцена — не конец (а в литературных чтениях на русском радио, не так давно, ею рассказ и заканчивается). Финал оборачивается парадоксом. В Мамае 1917 года, в тихом, безвольном, мухи не способном обидеть завоевателя книг, пробуждается жестокий и беспощадный кочевник, привыкший к зрелищу смерти, не сдерживающий инстинктов разрушения: «И мечом кровожадно пригвоздил врага». Вот так мышь из виновницы превращается в страданицу.

Из замятинского рассказа слишком легко вычитать (кажется, и вычитывали) «революционную» иронию над интеллигентом, его мнимой неотмирностью, бесхарактерностью и инфантильностью («Десятилетним вихрастым мальчиком он учил Закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысенкиным мальчиком — он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга»). Иронию над стремительным одичанием «гуманиста». Но все-таки Замятин, кажется, не о том.

О чем же? Метафора мышь — подсознание Замятину не интересна, так что в оборотничестве героя мышь повинна. (Если она к нему и «причастна», то только в том плане, что по ходу действия из залога действительного переводится в страдательный...) Удивительно: природа и культура поменялись местами: вторая распоясывается,

буйствует, как стихия, первая претерпевает разрушение...
(Саморазрушение.)

Рассказ — о природе (и даже так: о стихии), спящей в самой культуре (не вне ее, но именно в ней — спящий *хаос шевелится*). О неизбежности пробуждения-освобождения хаоса. А мышшь... невинна! случается, и шорох будит лавину...

Ab ovo. Разбитое яйцо: миг истины

Волошин в «Аполлоне и мыши» рассказывает о белой мыши, приходившей на письменный стол двенадцатилетнего Бальмонта, чтобы петь будущему поэту «тоненьким голосом». В конце концов Бальмонт ее нечаянно раздавил. Волошина этот трагифарсовый случай настроил на серьезный лад, наваял далеко идущие параллели. Эпизод вызвал в памяти поэта-философа античный образ: мышшь под пятой предводителя муз Аполлона (статуя работы Скопаса) — и Волошин заявил: мышшь связана с искусством самыми тесными узами.

Волошин, как водится, вспоминает «мышинные» образы в пушкинских стихах. И организует чуть ли не кругосветное странствие по литературе в поисках мышши. Иногда как будто отклоняется от маршрута — смакует, например, прозу Анри де Ренье — и в одном ряду с нею рассматривает сказки о Синей Бороде и о Курочке Рябе; забавно... Но цель не забыта.

Из путешествия, как сувениры, вывезены эффектные противостояния, все они доказывают — очевидно или опосредованно — благую роль мышши для искусства. Не золотое яичко — простое, не одеяние — нагое тело, не тень — человек, не продленное прекрасное мгновение (не отложенное «на потом» наслаждение) — но упоение мигом текущим... (Это уже похоже на декларацию! Но последуем дальше за Волошиным.) Не прекрасная хрустальная чаша — но сам напиток, не «аполлинический» золотой сон — но дневное пробужденное бытие, по Волошину, оно и есть подлинное царство Аполлона. И вот, кажется, ключ ко всему: не искусство, не создания гениев — но творческая сила. Потому — не надо бояться утратить произведения искусства. Ну, это мы читали — у Блока и у футуристов... Впрочем, у Волошина призыв, «выведен-

ный» из логики культурной мысли, «ведет» всего лишь к упоению мгновением жизни *здесь и теперь*. А повод и цель всех этих далеко идущих размышлений, напомним, — мышшь.

Современник легко опознает в волошинских противопоставлениях модную тему оригинала и копии. Разве что Волошина, в отличие от нас, волнует не то, что подлинник безвозвратно утрачен — он стремится донести до сознания публики некий новый жест культуры: ее желание открыться жизни, готовность шагнуть навстречу ей. Этот жест и помогает оформить сокрушившая золотое яичко мышшь.

Она оказывается... весьма многосторонним символом: за нею — изначальная скорбь и вечная борьба; разбивающая золотое «аполлиническое» сновидение тонкая трещина — читай: убегающее время, ускользающее мгновение — дверь в бесконечность...

Иными словами: пусть разбиваются «золотые сны» искусства, если замена — жизнь летучим мгновением, здесь и теперь. И вот вывод: «И теперь становится понятно, что мышшь вовсе не презренный зверек, которого бог попирает своей победительной пятой, а пьедестал, на который опирается Аполлон, извечно связаный с ней древним союзом борьбы, теснейшим из союзов».

Жизни мышшь беготня: с достоинством

Всегда «мышшь» выбирается на верхние этажи сознания и на пространства белого листа вслед за воспоминанием о времени, смерти, сиюминутном... О житейской прозе... Обо всем, что может быть утеряно в *снах золотых*.

Любопытное совпадение метафор. Сказка «про мышшь» пересказывается у Саши Соколова, в романе «Между собакой и волком» — в «письмах» пьяницы-инвалида Ильи Петрикеича. Сказка начата упоминанием «птицы Феникс», она же — «ряба» (правдоподобность легендарной птицы доказывается наличием у соседей «рябы-другой»). Продолжение следует, как водится у Соколова, через много страниц. Путаные рассуждения о вечной (хоть и недолго живущей) рябе и ее яйцах и о заключенном в сказке «намек» так ни к чему и не при-

водят, но, в общем, все и так ясно. (Сказка сказывается в ответ на некое табу — нельзя прямо просить о еде — и намекает, едва ли не в порядке шантажа, на загадочное отсутствие в больнице нормальной пищи; намек понят, и обходной маневр увенчивается успехом, добавочной порцией.) *Мышья беготня жизни* скромно, но с достоинством направляет словесность — в сторону прагматики, хлеба насущного.

У Соколова и «мышь листопада» в стихах «запойного охотника» напоминает не только о ходе времени, о близости зимы, но и о неизбежности житейских забот:

Но приходится действовать, надобно жить,
О наличьи лучины заботиться,
И приходится ичиги беличьи шить,
Запасаться грибом и охотиться.

Темное — это светлое

У Замятина «светлое» (сознание, культура, любовь к книгам) обнаруживало способность отемняться. Но парадоксально перемениться может и сторона-антагонист: возможна «мутация» мыши.

«Книга, пахнувшая мышами» (из романа Хазанова «Нагльфар в океане времен») — очень натуральна и никаких сомнений не вызывает. Столь же правдоподобен и несомненен и ахматовский образ: «Так же мыши книги точат, Так же влево пламя клонит Стеариновая свечка» («Сколько раз я проклинала...»). Почти картинка с натурой.

И вот вдруг: мышь — в несвойственной ей роли. Поменявшаяся местами с душой, книгой, словом, письмом и т.д.

Князь Мышкин (?).

Мышь — мысль (в комментариях А.Волохонского к поэме «Фома»).

Ученая мышь Кэрролла в Море слез («Алиса в стране чудес»), досконально знающая историю времен Вильгельма Завоевателя (в «Ане в стране чудес» Набокова мышь рассказывает о временах Владимира Мономаха).

У Синявского в автобиографическом романе «Спокойной ночи» авторский персонаж отождествляет себя с легкомысленной или коварной мышкой, что бежала, хвостиком вильнула и разбила яичко — золотое яичко ожиданий (задуманный показательный процесс сорвался: обвиняемый не пожелал признать вину). (Правда, в таком заведомо, по замыслу амбивалентном тексте, как у Синявского, где «все, абсолютно все принимает /.../ дразнящий и двоящийся образ», даже и от второстепенной, орнаментальной метафоры трудно ожидать однозначности. Мышь, скребущаяся под полом, — это и шуршание магнитофонной ленты, на которую записываются речи в лагерном Доме свиданий.)

У того же Набокова в рассказе «Встреча» находим «прустовское» погружение в сумеречные области памяти, усилия зацепить и извлечь оттуда нечто забытое. Герой пытается вспомнить имя пуделя «нат», оно ускользает («В памяти, в какой-то точке памяти, наметилось легкое движение, будто что-то очень маленькое проснулось и зашевелилось. Слово еще было незримо, но уже его тень протянулась, — как бы из-за угла, — и хотелось на эту тень наступить, не дать ей опять втянуться. Увы, не успел. Все исчезло...») — затем вдруг попытки увенчиваются успехом; тут-то и появляется, уже не тенью, метафорическая мышшь: «...но в то мгновение, как мозг перестал напрягаться и снова и уже яснее дрогнуло что-то, как мышшь, выходящая из щели, когда в комнате тихо, появилось легко, беззвучно и таинственно живое словесное тельце... «Дай лапу, Шутик». Шутик! Как просто. Шутик...»

У Шмелева мышшь символизировала «низкое», физиологическое, провалы сознания — у Набокова речь тоже о подсознании, но цветовой тон символики мотива светлый. Мышь — шевеление маленького, легкого, теневого, тихого, серого, незаметного, неуловимого и т.д. — становится синонимом слова, помогает поймать момент извлечения его из подвалов памяти, зафиксировать переход от смутной мысли к выражению.

Проза М.Берга полна аллюзиями и реминисценциями из Набокова и нередко представляет собой ее римейк, потому не удивляешься мышши — в описании поиска нужного слова: «О, это копошение серой мышшки (или, как он называл ее, «германской чумки»), играющей с сором в душе, отчего сладостная щекотка трогает губы, но им не высказать, не найти сразу подходящую выемку для слепка греховного блаженного созвучия, которое томит нутро» («Момемуры»).

Наконец, «Пелагия и красный петух»: «...в голове, которая должна быть полна одной лишь музыкой, вихлялась мышшиным хвостиком какая-то смутная, тревожная мысль» (И ты, Брут!.. даже и в таком непритязательном жанре, как детектив!).

Мышь — слово? Мышь — мысль?!

Рождение имени ИЗ шума, где *все перепуталось*, затерялись напоминающие о забытом имени звуки? Вспомним: в «Приглашения на казнь» искомое Имя должно было родиться в побеге ОТ шума мира сего. Явная «смена вех».

«Темное» — это «светлое», и наоборот. История литературы — зрелище чудовищных метаморфоз, обратимости всего и вся, «оружловское» попрание законов логики... Оробевшие могут утешаться тем, что любовь к парадоксу (или расшатыванию традиций, если хотите) не всем литературным эпохам присуща и не всем литераторам свойственна.

Однако: «заблудившиеся», «перепутанные» образы выглядят прозрениями.

Муза — сублимация Мыши

«Нет никакого сомнения в том, — заявлял Волошин, рассказав о мышши Бальмонта, — что эта белая мышшка о чем-то ему пророчила, и, вероятнее всего, это была сама его муза». Это звучит более радикально, чем надиктованное временем заявление о том, что жизнь — необходимая основа искусства: за мышью стоит уже не жизнь, но... сама богиня пения. Если к ней присмотреться как следует.

Когда современные ученые восстанавливают архаическое представление о Музах и поэзии, не идеализированное, не очищенное, не «цензурованное» культурным сознанием (вспомним:

идиллический образ девяти муз в хороводе вокруг Аполлона Мусагета), параллелью мышь — муза уже не забавляешься. Кажется, их сближение и в самом деле проникает в суть вещей.

Античному поэту присущи одержимость и неистовство (мания), «прикосновенность к иррациональному, к т о м у царству, к смерти». Поэт посредник между этим миром и тем светом. Он спускается в смерть, чтобы «принести людям живую воду жизни, тот мед поэзии, /.../ который противоположен мертвой воде Леты, забвению». В.Н.Топоров (чья статья процитирована выше) проследил представление о Музах до его истоков — и обнаружил сходство Муз... с мышами. Аналогичны сюжеты порождения их (Бог Неба сочетается с женщиной, локус которой земля или подземное царство, у детей — их сакральное количество — двоякая природа), совпадают сюжетные мотивы и контексты... Главное, сходны функции — связывающие как Муз, так и мышей с пением, поэзией, памятью и забвением, с прорицанием, смертью, болезнью-здоровьем.

В конце концов ученый приходит к мысли не просто о сходстве — о возможности «мотивирования», о происхождении, так сказать, Муз из мышей. Вот выводы: древнегреческое сознание предполагает «трансформацию природного и экстатического (дионисийского) в принадлежащее культуре и гармоническое (аполлиническое)», «Музы суть результат сублимации и очищения, приобщения к царству света тех хтонических существ, которые соединялись с Дионисом и, следовательно, с природой, землей и преисподней, со смертью и тьмой, т.е. м ы ш е й».

Казалось бы, память о происхождении Музы утрачена литературой; но оно напоминает о себе мышиным снованием.

Теперь, если приглядеться, можно заметить новые оттенки в сценах явления мыши. А именно: до подъема к свету и вечности — необходимое тяготение в мрачные бездны (влечение к смерти).

У Набокова и за пределами «Приглашения на казнь» мышиная возня оказывается необходимым фоном выводимой в сюжете мелодии (поисков бессмертия). В «Возвращении Чорба» «шуркает» среди бумаги и возится мышь («такие маленькие звуки, что страшнее канона-

ды)), и Чорб поддается «искуссу» восстановить в памяти образ погибшей жены — «навсегда» заменить ушедшую ее «бессмертным образом». А «на обочине» сюжетной тропы является мимолетное упоминание оперы Глюка «Орфей и Эвридика»; сюжет Чорба — это ведь и есть сюжет Орфея (спуститься в царство мертвых, чтобы вернуть возлюбленную).

Написавший книгу об И.Шмелеве немец Вольфганг Шрик, разгадывая смысл сна о дохлой мышь, подчеркивает общий план этого символа: яйцо (символ рождения и совершенства) с мышью в нем воплощает власть Зла над Добром. И все же шмелевская мышь не столь однопланова. Вспомним своеобразное понимание греха в прозе писателя: душа через грех очищается и возвышается (грех ведет к страданию, страдание заставляет «искать п у т е й»). Яйцо с мышью внутри можно понять как пророчество о возрождении ч е р е з грех, о святости через страдание: так сказать, нужно пасть, чтобы затем вознестись.

Все та же соколовская «мышь листопада», вообще-то, отвлекает от созерцательного настроя и меланхолии

(Можно было бы просто забыть обо всем.
И часами глядеть в никудали.
И нюхать полынь).

То есть начинается все — смертью, упоенным застыванием души и онемением поэта.

Попробуем так обобщить: когда в тексте намечается соблазнительный покой, движение по инерции, слишком уж очевидная «гармония» (что, вообще говоря, означает влечение к смерти), является мышь, этот изначально принадлежащий «хаосу», «дионисийский» образ, — и выводит текст из опасного, чреватого смертью равновесия. *Смертью смерть поправ...*

Еще раз сначала: мышь-жизнь, противоположность музы, антипод искусства (Аполлон Сминфей-Мышиный — победитель мышей). Но и так: муза — трансформация мышь. Высветленный мрак, поднявшееся на белый свет подполье.

Каков сюжет: муза-обитательница подземных пространств и ночи, с потусторонним или «темным» опытом, с немелодичным, искаженным голосом (ведь стихия ее — шумы и шорохи, голос ее — писк); ей приходится заново учиться петь, если она выходит из подполья, белый свет ее ослепляет, мучителен, днем ей беспокойно, тягостно... Первое, что приходит в голову, — такой должна быть муза андерграунда. Можно попробовать нацеленно поискать «мышей» в литературе подполья и о подполье.

И они находятся. Например, у М.Берга в изысканной прозе об авторе подполья Алексее Мальвино (полу-пародии на биографический роман, с отчетливой печатью влияния набоковской прозы): «Изысканно-тонкая словесная вязь, просторное устройство стиха, томительное путешествие сквозь чересполосицу света и тени, по полумраку монастырского коридора с затемненными углами, увешанными кружевами свисающей паутины, с отдаленно проступающими сквозь толстые своды мучительно непонятными созвучиями, чей источник расшифровать невозможно, настолько намеренно расстроена клавиатура. И остается гадать — то ли это мышь роется в углу, то ли, зажав рот, молятся скопцы, то ли келейно перешептываются люди лунного света».

У Б.Хазанова в «Идущем по воде», в рассказе о подпольном журнале: «В огромной и неподвижной России он был то же, что шорох мышонка, стучащего лапками по бесконечным переходам полутёмного замка, он походил на мелькание привидений. И всё же этот слабый звук был единственным звуком живого существа, и поймать, задавить его оказалось не так-то просто». Тут заявляет о себе «чудо» «свободного слова», обещающее нечто похожее на бессмертие: «Рассеяться на невидимые частички и хотя бы так уцелеть в сознании тех, кого сейчас мысленно окидываешь взором, — не так уж мало».

У Б.Хазанова возникает параллель подполья с эмиграцией: культура «уходит в катакомбы, и захлопывает за собой крышку подполья, и эмигрирует внутрь себя» («После нас потоп») — так

вырисовывается еще один литературный ареал «мыши».

Не удивимся, найдя в прозе эмиграции мотив гаммельнского крысолова (у Б.Фалькова в романе «Моцарт из Карелии») или сюжет Щелкунчика (в романе «Die Nußknacker» того же автора).

Снова о шуме

Если музы родственны мышам, «шум» должен быть подвергнут переоценке.

Казалось бы, что ценного можно найти в шуме? Там, где он вторгается в прозу, — черный провал, обрыв ткани текста — покрывала, наброшенного на бездну, там бедный и «скучный» «язык жизни». Раздирающие противоречивые чувства — от которых никак не уйти.

В «Школе для дураков» у Соколова, например, шумы пугают, мучительны, но и притягивают интерес и т.д. Скрежет испорченного патефона, скрипучий голос мужа «ведьмы» Трахтенберг-Тинберген, скрип гостиничной кровати невыносимы — и замещаются сказочными «скирлами» (скрип деревянной ноги медведя из сказки), но и это не изживает эмоций, они не отпускают — и повествование становится одержимым «скирлами», вновь и вновь возвращается к ним, образует «складки».

Может быть, именно нераспутанный клубок чувств и придаёт «шуму» инспирирующий, творческий потенциал. Шум внеположен литературной игре, он не может быть полностью усвоен ею — и этот не прошедший художественную обработку, сырой материал жизни будит творческое воображение как раз своей неосвоенностью и неподчинённостью воле художника. (Вспомним, как переосмыслили «шум» в Тарту: высокая информативная насыщенность, важность для искусства и литературы «неправильности», «неорганизованного», «внесистемного», «нехудожественного», принципиальная неготовность смысла...)

Кажется, в современную литературу вместе с «шумом» («косноязычием», «хаосом» и т.п.) врывается сама, казалось бы, утраченная, *исчезнувшая* реальность, проявляется бессмысленно, но безоговорочно и неоспоримо (или, может быть, так: бессмысленно — и потому безоговорочно и неоспоримо). И всякий раз, когда покров текста оказывается (намеренно или невольно) при-

поднят или надорван, в щель, вместе со сквозняками хаоса, ощущением неуюта, тоской, пробирается мышь.

«Монструозный» на первый взгляд образ Музы, мутировавшей из мыши, говорит об определенном настрое сознания, будь то умение слышать неслышимое (*мышью беготню* жизни), видеть невидимое (ночную, мрачную, не покоренную, страшную сторону существования), улавливать неуловимое (мгновение) или способность извлекать гармонию из самого шума жизни. Мышь — знак, доказательство этого настроения.

Литература склонна к «золотым снам»; но иногда — разбивается золотое яйцо; сны становятся «вещными»; что-то творится под «аполлонической», гармонической и рациональной, поверхностностью текста; проступает земное и «подземное», темное и «бессмысленное». *Жизнь в слове*. Простая и бедная, суетная и скучная, бессмысленная и страшная, жалкая и бездарная, мучительная и превратная, слепая и преходящая, мгновенная и полная; не отпускающие переживания, «расстроенные», спутанные чувства. *Живое в тексте*. Разрушение традиции, инерции, парадоксальные, немислимые образы, внезапные повороты сюжета, нечаянные ассоциации, вдруг всплывающие в памяти ритмы, тропы, композиционные сочленения... *Подземные воды*, подсознание текста. *«Дионисийское» в искусстве, Мышь в Музе*.

Если помнить о «темном» хтоническом прошлом Музы, ее образ раздвигается в глубину, приобретает трехмерность, перспективу; и, вместе с горизонтом, некое внутреннее движение (вспомним формулировку Мандельштама, из «Разговора о Данте»: удлинение слова как пути). Стихи начинают включать и самую их стихию; и *сop*, из которого они *растут*. Вот и «мораль» сей нехитрой басни?

Остается напомнить о доле здорового юмора, с которым надо воспринимать выше написанное. Ведь речь всего лишь о мышши...



Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

СТИХИ НА ПЕСКЕ

/ Израильский дневник /

Всем друзьям посвящается

Сколько в компьютере божьем оттенков зелёного —
Я никогда ещё в жизни не видела столько!
Здесь, в Галилее, спасенье от времени оного,
словоубежище... И кислосладкая долька
(не леденец химиядный — плоды трудовитые...)
Солнце гончарное, скрипнув, за кадр опускается.
Овны библейские, к жертве любовно завитые,
так безмятежны, что фотозатвор спотыкается...
Патриархальное, ветхозаветное, горнее
ширится небо — чем выше тропинка топорщится.
Совестно в рифму, — изыди, как бизнес — игорная...
Дай надыхаться псалмами...
(Примолкла, притворщица.)

Мой друг опять невыездной —
Как много лет тому...
И не заполнить обходной
В пылающем дому.

«Наш дом — Израиль» — говорит.
Бездомный бледный грач...
Щебечет весело иврит
И прячет вечный плач.

Он не банкир, не спекулянт
Мой старый добрый друг,
Лишь любопытный эмигрант
В пески — из белых выюг.

И вот сидит он, весь в долгах,
В компьютере сидит...
Мешает думать о богах
Профуканный кредит.

Мой друг ни в чём не виноват,
Он — из породы птиц...
И если завтра новый ад —
Он первый в Аушвиц.

Он входит в кнессет, глух к речам,
Неловкий как верблюд.
И люб Шагал его очам,
И скушен прочий люд.

Он отвечает невпопад,
Но встать «в ружьё» готов
Мой друг — печальный депутат
От партии цветов...

То ли ломится бешеный яркий ландшафт,
то и дело меняясь, в стекло ветровое?
То ли фрески Шагала до звона в ушах
разрослись, и смыкаются над головою?
Всё возможно под куполом этих небес,
где в прищуре солдата — печаль Авраама,
где пилястрами стройными лепится лес
и однажды в столетье скворчит телеграмма.
Как лиловы оливки, и как апельсин
нестерпимо оранжев, на зависть Манджурий...
Над спящим песком — паруса парусин
и араб в неизменном своём абажуре...
Все мы родом из этих горчичных земель,
что являют прообраз и ада, и рая,
где, как в детстве бронхитном, палитровый хмель
и восторг сотворенья... И вот он, Израиль!
Я намокшую прядь поправляю крылом

и не ведаю, сколько веков отмахала...
И венчает картину, мелькнув за стеклом,
смуглый ангел пустыни, патрульный ЦАХАЛа...

На зубах скрипел песок,
шла осада.
Не висок, а дух высок
твой, Масада.
Пусть им имя легион,
хватит — Рима.
Желт песок. И желт огонь.
Всё — горимо.
Жажду взглядом утолив
в Божье небо,
знали — больше ни олив
и ни хлеба.
Ни надежды на побег,
ни подмоги.
Первый подвиг. Первый век
синагоги.
Обнимите жён, мужи, —
время тризне!
Пусть им наши куражи,
а не жизни!
Лучше гибель, чем клеймо,
что — отрепье...
...Поналипло к нам дерьмо
раболепья.
Не грозит нам дефицит
прохиндеев...
Но — великий суицид
иудеев!
Занесло песком года —
да не стёрто...
Даль как желтая звезда
распростёрта.
Не для МИДа, не для вида —

фасада:
Золотая пирамида.
Масада.
Приходите погордиться,
старая,
не забывшие традиций,
евреи...

Дождик. Муторно. Жди гостинца
от безумного палестинца...
Неужели же всё заране:
брань соседей и поле брани?..
Бог — он каждому понемногу:
флягу влаги и хлеб в дорогу.
Иудею и христьянину.
(Износилось бельё в рванину.)
И араба арба палима
белым солнцем Ерусалима.
Что же ты натворил нам, Боже!
Что ни век — то одно и то же:
взрывы крови, руины мести...
Люди жить не умеют вместе.
...Я вернусь в свои палестины,
ребятне раздам апельсины.
А родня мне — борща половник:
мол, хлебай, отощал, паломник...
Шагом-шепотом выйду в город,
приподняв — от прохожих — ворот.
Тихо-тихо. После террора
отдыхает крейсер «Аврора».
А в парадных того построя
пьёт народ, разойдясь по трое,
пьёт и плачет : «Помилуй, Боже...
(И жидовскую морду — тоже...)»
Потому-то и ждать Мессию
не куда-нибудь, а в Россию —
где бродяга в лохмотьях ищет

Книгу Бога на пепелище.
Скрипка ль плачет? Скрипит телега?
Острый свет над пустыней снега....

...Земную жизнь пройдя до половины,
верней, почти до самого конца,
я знаю : в птичьих шапочках равнины
не заслонили Божьего лица.
Тому, кто нам наказывал: не целься,
не обмани, будь страждущему — брат,
милей и ближе ряженных процессий
поэт, стихи слагающий в шабат...
Космополит, что пьёт арабский кофе,
смакуя горечь, сжав до синевы
осколок моря... Этот на Голгофе
Не отшатнет от плахи — головы...
Да, не любил катания на танках,
чурался пейс, — зато наверняка
арабских цифр в швейцарских мутных банках
не прикрывала алчная рука...
И если все мы, Господи, повинны,-
покинь тобой придуманный народ...
Земную жизнь пройдя до половины,
я слышу скрежет Дантовых ворот...

Лена, Володя, Наташа и Миша.
Над головой — сионистская крыша.
А на столе — православная водка.
(Задраны вверх и кадык, и борода.)
Из пенопласта двойник Арафата,
он исподлобья следит воровато...
Что тебе, чучело? Будешь из банки?
Мы никуда не въезжали на танке.
Мы согревали пол-жизни в котельной

и Могендовид, и крестик нательный.
Новый Завет вслед за Ветхим Заветом
полнили душу терпения светом...
Спали с лодыжек галерные гири.
Не потеряться бы в яростном мире!
Юра, и Вася, и Боря, и Лена —
все мы Петра и арапа колена...
И отовсюду спешат катастрофы
в наши до слёз петербургские строфы.
В мире безумном воинственном этом
нет закутка бесприютным поэтам.
Всюду бездомна ты, братия наша —
Витя, Серёжа, Олежка и Саша.
Хоть и пришли заповедные сроки
и из юродивых вышли в пророки...
Песах ли, Остерн — рванём без закуски...
Это по-божески. Это — по-русски.

Храни друзей моих, Господь,
и в Петербурге, и в Нью-Йорке,
и во дворце, и во камерке
крепи их дух, щади их плоть.
Нам не дано предугадать,
где нам даровано свиданье,
на Рейне или Иордане
окатит светом благодать.
Я скрытной верою живу,
что вдруг расступится кромешность,
как тайна жизни, как промежность
и — в жгучий обморок, в Неву!
Не оттолкнёт счастливых слёз,
сомкнёт утешные объятья...

И встретят в белом сёстры, братья...
И впереди — Иисус Христос.

Да, мы и грешны, и слабы,
а всё ж друзей не предавали.
Достойны райских куш едва ли,
но — взблеска ангельской трубы.

Хотя б за то, что бедовали
и были всюду, где бывали,
лишь бедуинами судьбы...



Мария ЛИТВИНА

«РЕНЕССАНС»

Иранец-бармен сделал «Кайперинью»:
Корица, сахар, лед, лимон, кашаса.
Мне протянул: мол, выпей на здоровье —
Волнующе бразильское питье!

Сиж у стойки. Вечер над Ганновером.
Пустые улицы сковала темнота
И тишина — снаружи. Здесь же дымно,
Коктейли, пиво, африканский джаз...

Поговорим о Рио де Жанейро.
Нет, не была, но разве в этом суть?
Ведь это просто символ — Эльдorado!
Что? Нищих много? Ну, а где их мало?

К тому же это — нищие Амаду,
А не какого-нибудь Горького... Читал ты?
По-португальски? Ну, и как? Не очень?
И мне Набоков больше по душе...

Ты гитарист? А кто с тобой? Как? Пьяный?
Он венгр? Ах, да! Да мы знакомы с ним!
Мы с ним однажды целый час болтали.
О чем? Прости, не помню, хоть убей!

Должно быть, об искусстве... Тот за стойкой?
Не знаю точно. Кажется, Али...
Нет? Брат его? Ну, Бог с ним! Эй, приятель!
Ты говори погромче — мне не слышно!

Тут ни при чем акцент твой! Просто шумно!
А что ты куришь? Хаш? Спасибо, нет!
Не сомневаюсь, что тебе не жалко...
Что? Замуж? Не пойму! *Jo no entiendo!*

¹ Я не понимаю (исп.)

Я? Из Москвы. Шесть лет назад почти что.
Сестра, мать, бабушка и дед. Отец погиб.
Her's dead. Нет, не шучу. Не извиняйся –
Уж ты-то тут, ей-Богу, ни при чем!

Что ж, выпью с удовольствием, пожалуй.
Еще раз то же самое. Ну, да.
А я умею пить! Да, музыка что надо!
Вон тот, с косичками, — перкусси — просто класс!

Нет, вижу в первый раз. Еще бы! Здорово!
Не часто, нет. Ведь я живу в Берлине.
И тут жила, но это дело прошлое.
Так получилось.
Композитор? Кто?

Ты? Интересно как! Сыграешь что-нибудь?
Ну, да, и спой. Я? Нет, я не пою.
Подпела бы, да слов, увы, не знаю –
Язык чужой... И жизнь чужая тоже!

Что? Рассказать тебе? Тут слишком шумно?
Ну, нет уж! Ты иди, а я останусь...
Тот журналист? Да, интересный малый.
Статьи его? Читала, но не все.
Да так себе, а впрочем интересно.
А что ты хочешь от газеты «Бильд»?

Кури себе, родной, спокойно дальше –
Тут все равно накурено ужасно.
Однако это все же очень мило,
Что ты спросил...
Сказала — не пойдуй!

Нет, мне достаточно. При чем тут секс на пляже?
Ты про коктейль! Ну, как же. Да, пила.
Нет, не понравилось. Уж лучше «Кайперинья».
А ты уже обкурен! Нет, отстань!

Пустеет бар. Закончился концерт.
Али (Хамид?) — ну, словом, тот иранец! —
Со столиков стаканы убирает.
Сосед умолк и только смотрит грустно.

«Так не пойдешь? А ведь какая ночь!
В ней бодрствуют поэты и кометы,
Сливаясь с пустотой своих небес...
И воздух, роз впитавший аромат,
Послужит пищей нам... Я был в саду —
В саду моей — иль нет: твоей! — души,
И я нарвал цветов... Душисты и свежи,
Они — тебе! Не отвергай напрасно!
Они нежны и сказочно красивы...
Пойдем. Я провожу тебя домой...»

Темны дома, и улицы темны,
Весь город спит, и даже «Ренессанс»,
Всеобщему порядку подчинившись, —
И тот стал частью этой темноты...

Так растворилась в тишине
Неузнаваемая Вечность,
И опыт жизненный, как дым,
Растаял в полуночном небе.
Взамен осталась пустота,
Обуревающая душу —
Такая нежная, как пух,
Как снег, ложившийся к ногам...

МОСКОВСКИЙ ЦВЕТОК

Он тянется ко мне прозрачными руками —
Цветок, полуувядший от тоски, —
Сжимая расстояние меж нами
В полузасохшей памяти тиски...

Но бледен свет случайного свиданья,
Так мало воздуха, и низок потолок.
Но снова незаметен миг прощанья
И жалок вечной верности залог...

Под тобой в ночи сияют
Золотые купола.

Лентой улица стекает
Вниз к бульварному кольцу.

Стережешь, больная птица,
Мертвый этот материк.

Что в душе твоей хранится,
Не известно никому...



ФЕРНХАЙМ

1.

По возвращении он нашел свой дом запертым. После того, как позвонил и раз, и другой, и третий, поднялась снизу явилась привратница, скрестила руки на животе, склонила голову к плечу, молча постояла так минуту, а затем сказала: кого я вижу — господин Фернхайм! Правда, правда, ведь это господин Фернхайм! Выходит, вернулся господин Фернхайм, почему же говорили, что не вернется? Да что ж он утруждает себя и звонит, понапрасну утруждает себя и звонит, квартира-то пуста, нет там никого, кто бы мог открыть ему, потому как госпожа Фернхайм уехала и заперла дом; и ключи с собой забрала — не подумала, что кому-то могут они понадобиться, ключи, вот как теперь, когда господин Фернхайм вернулся и хочет зайти к себе в дом...

Фернхайм почувствовал, что должен сказать что-то прежде, чем она обрушит на него все прочие тяжкие сведенья. Он принудил себя ответить ей, но фраза вышла скомканная и обрубленная, ничего не значащая.

Привратница между тем продолжала сообщать: после того, как мальчик умер, пришла ее сестра, госпожа Штайнер, а с ней и господин Штайнер, и они забрали с собой госпожу Фернхайм — на дачу к себе. «Сын мой Франц, как он нес за ней чемоданы, то слышал, что Штайнеры надумали пробыть там до больших праздников, этих, которые бывают у господ израильтян — что выпадают на конец лета, то есть уже ближе к осени, — и я так думаю, что госпожа Фернхайм тоже не станет возвращаться в город раньше этого времени: если мальчик умер, куда ей спешить? В садик-то теперь не надо ему ходить. Беденький, все ведь слабел и таял, пока вот не умер...»

Фернхайм покрепче сжал губы. Наконец он нашелся кивнуть привратнице, опустил кончики пальцев в кармашек жилета, вытащил оттуда монету и дал ей. А затем повернулся и ушел.

Два дня провел Фернхайм в городе. Не осталось ни одного кафе, которого бы он не посетил, ни одного человека, которого знал и с которым не поговорил бы. Сходил на кладбище на могилку сына. На третий день заложил подарок, купленный для жены, отправил-

ся на вокзал и взял билет туда и обратно — в Ликенбах, деревню, где располагалась загородная вилла его деверя Хайнца Штайнера. Это там познакомился Фернхайм несколько лет назад с Ингой, когда составил компанию Карлу Найсу, а тот привел его к ней. И не знал Карл Найс, как предстоит развиваться событиям и что выйдет из всего этого в будущем.

2.

Когда Фернхайм поднялся в виллу, невестка его Гертруда стояла в передней комнате над бельевой корзиной и складывала простыни, снятые с веревки. Она приняла его учтиво, предложила стакан воды с малиновым сиропом, но не выказала при встрече ни капли радости, словно не из плена он вернулся и словно не минули годы с тех пор, как они не виделись. А когда он спросил, где Инга, сделала удивленное лицо: дескать, с какой стати он спрашивает о ней, об Инге, да еще с такой неуместной фамильярностью? И когда глянул на дверь, которая вела в другую комнату, сказала Гертруда: ты не можешь зайти туда, там стоит кровать Зигберта. Ты помнишь Зиги, Зиг — мой последыш? И сославшись на Зигберта, усмехнулась в душе, что назвала его последышем, в то время как новый младенец уже шевелится у нее в чреве. И не успела она договорить, как вошел Зигберт.

Погладила Гертруда сына по голове, поправила ему локоны, упавшие на лоб, и сказала: опять ты передвинул кровать? Разве я не сказала тебе: не трогай кровать. А ты, Зиги, не слушаешься: опять передвинул кровать. Ты не должен был этого делать, сынок.

Пораженный, ребенок остановился: о какой кровати говорит мама? А если он и подвинул кровать, почему нельзя было ее двигать? И ведь тут и нету никакой кровати. А если бы на самом деле была кровать, и он ее передвинул, так мама должна бы порадоваться, что он такой большой и сильный парень: может даже передвинуть кровать, если захочет. Но все эти слова матери чрезвычайно странны, ведь нет тут никакой кровати. Сморщил Зиги личико, переживая незаслуженную обиду. Но несмотря на все, готов был простить и обиду, если бы хоть капля правды содержалась в словах матери.

Фернхайм уже понял, что не было там особых препятствий, но из уважения к Гертруде — лишь бы не выставлять ее выдумщицей — не стал открывать дверь.

Гертруда размышляла про себя: нужно сообщить Хайнцу, что Фернхайм тут. Но если я оставлю Фернхайма и выйду, то ведь он может открыть дверь и зайти в комнату, а оттуда и в комнату Инги, но ведь будет нехорошо, если он предстанет перед ней прежде, чем поговорит с Хайнцем. И вообще нехорошо, что он явился сегодня, когда Инга сидит и ждет Карла Найса, который должен прийти, и не исключено, что Найс уже пришел и сидит у Инги, и вовсе не требуется, чтобы двое этих мужчин повстречались именно у Инги... Увидела, что Зиги так и стоит. Велела ему: пойдя к папе и скажи ему...

Раскрыл Фернхайм объятия мальчику и принялся разговаривать с ним ласково: кто это тут? Это молодой Штайнер? Наследник фирмы Штаркмат и Штайнер? Что же это, Зиги, ты не хочешь поздороваться с твоим милым дядей, дядей Вернером? Ты как будто не рад, что он вернулся из плена, где враги кормили его живыми змеями и поили ядом аспидов? Иди сюда, Зиги, милый мой, дай я тебя поцелую! Ухватил ребенка, поднял повыше и поцеловал в губы.

Утер Зигберт недовольно ротик и поглядел на него со злобой. Вытащил Фернхайм половинку сигарки, зажег от своей зажигалки и сказал Зиги: хочешь потушить огонек? Ну-ка, открой рот, дунь на него, поглядим, как он потухнет...

Сказала Гертруда сыну: иди, мой родной, и скажи папе, что... Что дядя Вернер пришел и хочет его видеть.

Но как только ребенок вышел, вернула его. Решила Гертруда: надо предупредить его, чтобы не вздумал рассказывать никому, и тете Инге тоже, что Фернхайм здесь, пока не расскажет вначале отцу. Но поскольку невозможно было сказать такое при Фернхайме, снова передумала и отправила его.

Стоял Зиги и ждал, что мама снова позовет его, как уже сделала прежде. Но когда увидел, что она молчит, вышел и позвал:

— Папа, папа! Мама зовет тебя. Тут пришел один человек.

Спросил Штайнер сверху из мансарды:

— Какой еще человек?

Повторил ребенок:

— Один человек.

И не прибавил более ничего. Сказал ему отец:

— Ступай, сынок, и скажи маме, что я иду.

Сказал ребенок:

— Не хочу.

Сказал отец:

— Чего ты не хочешь?

Сказал мальчик:

— Не хочу идти к маме.

Спросил отец:

— Почему ты не хочешь идти к маме?

— Так.

— Что — так?

— Потому что тот человек.

— Что — тот человек?

— Так.

— Ты упрямисься, Зигберт, а я не люблю упрямства.

Пошел ребенок и заплакал.

Сидел Фернхайм и сидела Гертруда. Она складывает простыни, а он держит в зубах окурки сигарки. Она сидит и помалкивает, а он удивляется самому себе: сидит он с сестрой своей жены, сидит и молчит... Она ждет мужа, когда же придет наконец, а он курит без передышки.

И уже дотлела половинка сигарки почти до конца, но все продолжал держать ее в зубах. «Я смотрю, — размышляла между тем Гертруда, — новая прачка стирает не так уж плохо. Отбеливание простыням на пользу, но главное все-таки как следует тереть. Это нехорошо, что Вернер вернулся. Но раз уж вернулся, следует закончить со всем этим делом. Полотенца отбелены лучше, чем простыни, но края у них загнуты. Видно, что вешала по два полотенца вместе, будто одно. Что это — птичий помет? Она что, не понимает, что нужно протереть веревку, прежде чем вешаешь белье? Хайнц не идет, а я в сомнении — не знаю, как поступить: следовало бы пригласить Вернера к обеду, но ведь Карл Найс уже приглашен. Все-таки, чтобы не чувствовал себя таким несчастным, пойду налью ему еще стакан лимонада. Он ищет пепельницу. Уже бросил окурки в сад...»

3.

Слышатся шаги Хайнца Штайнера, и доносится запах его дорогой сигары, которую он сжимает в зубах, придавая меж тем лицу своему выражение угрюмости — как имеет обыкновение делать всегда, когда предстоит ему встреча с незнакомым человеком. Но поскольку, войдя, он видит Фернхайма, заготовленное уже раз-

дражение удваивается, а лицо заливает недоумение. Он теребит пальцами усы и бурчит невнятно:

— Ты здесь?..

Фернхайм отвечает, пытаясь изобразить на лице бурную радость:

— Истинную правду изрек ты, Хайнц! — произносит он бодро и одновременно протягивает шурина обе руки в приветствии.

Хайнц подает ему два пальца и цедит сквозь зубы нечто ничего не значащее. Едва шевеля языком, констатирует:

— Вернулся.

Фернхайм отвечает усмешкой, будто обязан подтвердить, что да, вернулся вот.

— Когда же ты вернулся?

— Когда вернулся? — говорит Фернхайм. — Два дня назад. Если быть совсем уж точным, три дня назад.

Хайнц стряхивает пепел сигары в стакан с лимонадом и говорит:

— Три дня ты здесь... Если так, то, надо полагать, тебе уже повстречались некоторые люди, которых ты знаешь.

— А если и повстречались, так что? — отвечает Фернхайм храбро.

— Если тебе уже повстречались некоторые люди, которых ты знаешь, — говорит Хайнц, — то надо полагать, тебе довелось и кое-что услышать от них.

— Кое-что услышать?.. Что же, например?

— Что кое-что переменялось в мире.

— Да, многое переменялось в мире, — вынужден согласиться Фернхайм. — Я написал, что приеду в такой-то день, в такой-то час таким-то поездом, но по прибытии обнаружил пустой перрон. На самом деле, конечно, перрон не был пуст. Напротив, он кишел множеством людей, что пришли встретить своих братьев, сыновей и мужей, вернувшихся с войны, но Вернер Фернхайм, проливший кровь в боях и попавший в плен к врагу, где довелось ему провести достаточно тягостный год, не нашел ни единой души, которая пожелала бы поприветствовать его.

Задрал Штайнер голову повыше перед Фернхаймом и сказал:

— Кто же, Вернер, по-твоему, должен был прийти приветствовать тебя?

Сказал Фернхайм:

— Я не имел в виду тебя. Упаси Господи! Я прекрасно знаю, что господин Штайнер человек значительный и занятой. Обременен-

ный настолько важными делами, что ради них его даже освободили от воинской повинности. Но есть тут все-таки одна душа, для которой, я бы сказал, было б не лишним прийти приветствовать мужа. Как ты полагаешь, Хайнц, мой дорогой шури, если бы Инга пришла? Так ли уж невозможно вообразить себе подобное?

Штайнер попытался изобразить улыбку, но поскольку непривычен был улыбаться, на лице его расцвело лишь недоумение. Согнул он левую руку, поглядел на свои ногти и сказал:

— Если мои уши меня не обманывают, ты считаешь, что Инга должна была бежать на вокзал встречать тебя, не так ли, Вернер?

— Что тебя так изумляет? Разве не принято, чтобы жена встречала мужа, возвращающегося издалека? И из какого далека я возвращался!.. Другой на моем месте сто раз бы уже умер, так и не удостоившись узреть дорогие лица...

И вдруг повысил голос и спросил гневно:

— Где Инга?

Поглядел Штайнер шурина в лицо и отвел глаза. Отвел глаза и снова глянул на него, стряхнул пепел с кончика сигары и ответил рассудительно:

— Инга сама себе хозяйка, мы не следим за ее передвижениями. И тебе я тоже советую, Вернер: не вмешивайся в ее дела.

Сидела Гертруда и размышляла про себя: «Вот это мужчина! Это действительно мужчина. Человек, который умеет поставить себя. С любимым. Вечером открою ему, что ему предстоит снова стать отцом. А сейчас, пожалуй, оставлю их и пойду себе».

Налились у Фернхайма глаза кровью, будто раскололось вдруг что-то внутри и вся кровь хлынула наружу.

— Что ты имеешь в виду, — закричал он, — когда говоришь: не вмешивайся в ее дела? Мне кажется, у меня пока что есть некоторые права на нее!

Гертруда застыла на месте и жаждала лишь одного: чтобы он ушел.

— Сядь на место, Гертруда, — сказал Хайнц, — даже если тебе неприятно выслушивать его речи, то послушай все же, что скажу я. И ты, Вернер, послушай. Если ты не желаешь понять сам, я тебе растолкую. Мир, который ты оставил в канун войны, переменялся. И самые главные для нас вещи переменялись. Не знаю, насколько ясны тебе эти предметы и насколько они тебе приятны. Но если ты готов выслушать, я тебе разъясню.

Фернхайм поднял глаза и заставил себя взглянуть в лицо шури-

ну. В эту минуту не было оно, это лицо, так чтобы чересчур привлекательным. Опустил он голову, потупил глаза и сел, подавленный.

Воскликнул вдруг Штайнер:

— Что, здесь вообще не имеется пепельницы? Извини меня, Гертруда, если я замечу, что пепельница должна находиться тут постоянно!

Поднялась Гертруда и принесла пепельницу.

— Спасибо, Гертруда. Уже просыпался весь пепел на ковер. О чем мы говорили? Ты требуешь объяснений, Вернер. Так начнем с самого начала. Речь идет об одной девушке из хорошей семьи, девушке, которая предназначалась одному молодому человеку, правда что помолвка еще не состоялась. События развивались так, как они развивались, и пристал к этому делу тот, кто пристал. Исчез тот, кто предназначался девице, и возник тот, что прилепился к этому делу, и принялся этот последний кружить вокруг нее, пока не добился своего и не вышла девица за него замуж. Чем он пленил ее и почему пожелала она выйти за него замуж? Это я оставляю умельцам разгадывать загадки. Я не смогу ответить, почему. И ты, Вернер, если поглядишь на себя хорошенько, тоже вряд ли сумеешь объяснить, почему. Одно очевидно: с самого начала не был этот союз удачным союзом и не была эта пара действительно парой, а было то, что было. В любом случае, никто еще не сказал, что так и должно ему оставаться навеки. Понимаешь ли ты, дорогой, к чему я клоню? Не понимаешь? Удивительно! Столь явные вещи я пытаюсь тебе втолковать.

Сказал Вернер:

— И только поэтому?

Сказал Хайнц:

— Тебе это представляется столь уж неважным?

Сказал Вернер:

— Как бы там ни было, я хочу знать, только ли поэтому?

Сказал Хайнц:

— И поэтому, и по другому.

Сказал Вернер:

— И по другому — по чему же?

Промолчал Штайнер и не торопился с ответом.

Сказал Вернер опять:

— Прошу тебя, открой мне, что за причина? Ведь ты сказал: и по этой причине, и по другой. Если так, в чем же другая причина?

Ответил Штайнер:

— То, что ты называешь «другой причиной», лежит в иной плоскости.

Сказал Фернхайм:

— Но если я хочу знать?

Сказал Штайнер:

— Если ты так уж хочешь знать, я скажу тебе.

— Итак?

— Итак, тот человек, которому наша девица была предназначена, оказался жив. И мы уповаем на твою порядочность и надеемся, что ты не станешь воздвигать препятствий. Видишь ли, Вернер, я не припоминаю тебе ни денежной растраты, ни того ущерба, который ты нанес доброму имени нашей фирмы.

Спросил Фернхайм еле слышно:

— Карл Найс жив?..

Ответил Штайнер:

— Жив.

Сказал Фернхайм:

— Неужто воистину настал час воскрешения мертвых? Ведь я сам своими глазами... И все, что были с нами... Все видели, как на него обрушилась гора... И никто не слыхивал, чтоб его откопали из-под обвала... Хайнц, любезный мой, ты дурачишь меня! И даже если вызволили его оттуда, невероятно, чтобы он остался жив... Объясни мне, Хайнц, что ты хотел сказать этим? Разве...

Сказал Штайнер:

— Я не занимаюсь сочинением вымыслов. Могу только сказать тебе, что Карл жив и здоров. Жив и здоров! И еще я скажу тебе: Инга надеется, что ты не вздумаешь встать у них на пути. А по поводу твоего положения — ты ведь вернулся с пустыми руками — об этом мы тоже позаботились. Посоветовались и, поверь, не отправим тебя ни с чем. Я еще не определил суммы, которую собираюсь выделить тебе, но в любом случае можешь быть спокоен: этого хватит, чтобы держаться на ногах — разумеется, если не вздумаешь бездельничать.

Сказал Фернхайм:

— Вы позволите мне повидать Ингу?

Сказал Штайнер:

— Если Инга пожелает видеть тебя, мы не станем препятствовать.

— Где она?

— Если не вышла прогуляться, то, скорее всего, сидит у себя в комнате.

Спросил Фернхайм с горькой усмешкой:

— Одна сидит?

Штайнер сделал вид, что не заметил издевки, и ответил Фернхайму спокойно:

— Возможно, одна, а возможно, и не одна. Она, я уже сказал, сама себе хозяйка и вправе делать все, что ее душе угодно. Во всяком случае, можно спросить Ингу, готова ли она принять гостей. Как ты думаешь, Гертруда? Пошлем к ней Зига? Что с ним было, с Зигом, почему он выказал такое упрямство? Безделье не на пользу любому человеку, и детям в том числе.

4.

Инга приняла его приветливо. Если бы мы не знали того, что уже знаем, можно было бы даже подумать, что она ему рада. Глаза ее лучились каким-то новым светом и все существо переполняла радость. Большое счастье, даже если оно и не на пользу тебе, пленяет своим сиянием. В эту минуту все, что он собирался сказать, позабылось, он сидел перед Ингой, смотрел на нее и молчал.

Сказала Инга:

— Где ты пропадал все эти годы?

Сказал Вернер:

— Где я пропадал, я точно знаю, но вот если ты спросишь: где я сейчас, то сомневаюсь, что сумею ответить...

Улыбнулась Инга, как будто услышала удачную шутку.

Подвинулся Вернер вместе с креслом раз и еще раз подвинулся вместе с креслом, положил правую руку на подлокотник, поднял левую к носу и понюхал свои ногти, пожелтевшие от табака, и все сидел и удивлялся, как это после всех лет, проведенных вдали от Инги, он снова сидит у нее, снова смотрит на нее, и она смотрит на него, и ни единое слово из всех, что переполняют его душу, не идет ему на язык, хотя сердце требует хоть что-то сказать.

Сказала Инга:

— Рассказывай, я слушаю.

Опустил Вернер руку в карман и принялся шарить там. Но подарок, купленный для Инги, был заложен ради билета в Ликенбах. Улыбнулся смущенно и сказал:

— Ты хочешь знать, что я делал все это время?

Кивнула головой и сказала:

— Почему бы и нет?

Но когда принялся рассказывать, увидел, что она не слушает.

Сказала Инга:

— А как относились к тебе болгары?

— Болгары? Да ведь болгары были нашими союзниками...

Сказала Инга:

— Разве ты не был в плену? Мне казалось, я слышала, что ты попал в плен...

Сказал Фернхайм:

— Я был в плену у сербов. Ты не в состоянии отличить врагов от друзей. Я слышал, он вернулся.

Покраснела и не ответила ему.

Сказал Вернер:

— Ты подозреваешь, что я обманул тебя. Солгал, когда сказал, вернувшись, что видел Карла Найса — как на него обрушилась гора. Сто раз я готов был соврать что угодно, лишь бы угодить тебе. Но это было правдой.

Сказала Инга:

— И правдой, и неправдой...

— Правдой и неправдой?.. В чем же тут неправда?

Сказала Инга:

— Правда, что обрушилась на него гора, но она не накрыла его.

Сказал Вернер:

— Если так, то где же он был все эти годы?

Сказала Инга:

— Это долгая история...

Сказал Вернер:

— Ты боишься, что долгая история займет слишком много времени и затянет мое пребывание у тебя?

Сказала Инга:

— Я имела в виду не это.

— А что же?

— Что я не мастерица рассказывать.

Сказал Вернер:

— В любом случае я должен узнать, что было и чего не было. Я собственными глазами видел, как обрушилась на него гора, а ты говоришь: «Обрушилась, но не на него». Прости, если я повторяюсь и спрашиваю: где же, в таком случае, он скрывался все эти годы? Писем не писал, в книге живых не значился, и вдруг является

и говорит: вот он я! И теперь не остается нам ничего иного, как спровадить Вернера Фернхайма прочь из этого мира и забрать себе его жену. Разве не так, Инга?

Сказала Инга:

— Не надо, Вернер.

Сказал Вернер:

— Или еще лучше: пусть этот Вернер, этот Вернер Фернхайм, муж Ингеборг, сам удалит себя из этого мира, чтобы господин Карл Найс без излишних хлопот взял себе в жены госпожу Ингу Фернхайм — извините: госпожу Ингеборг из семейства Штаркмат. А женщина, на которой Вернер законным образом был женат, и она даже родила ему ребенка — и даже если забрал его Господь, то отец его еще существует и желает продолжать существовать, желает продолжать жить, после всех тех лет, что не видел жизни. Этот Вернер Фернхайм, хоть и не обласканный судьбой, тем не менее не готов удалить себя из этого мира. Напротив, он жаждет новой жизни. Я вчера был на могилке нашего сына. Ты полагаешь, что с ним вместе вы похоронили все то, что было между нами? Не плачь, мне нужны не твои слезы.

И вдруг изменил тон и сказал:

— Я не явился силой вломиться в твою жизнь. Даже последний из падших не лишен остатков достоинства. Надеюсь, ты поймешь: я должен был видеть тебя, должен был говорить с тобой, но если ты не хочешь — я уйду. Кто знает, может, будущее окажется более благосклонным ко мне, чем господин Хайнц Штайнер и госпожа Инга из семейства Штаркмат полагают... Еще не подписан мне смертный приговор на веки вечные. Скажи мне, Инга, он тут? Не бойся, я не собираюсь ничего ему сделать. Что я могу, если даже горы издеваются надо мной?!

Недвижная и печальная сидела Инга. Раз и другой взглянул на нее Вернер. С того дня, как он видел ее тогда, она немного пополнила. Или выглядит так, потому что одета в черное. Черное платье прекрасно сидело на ней, на ее изящном теле, и золотистые волосы красиво обрамляли голову. Светилась белая кожа на шее, но радость, что сияла в ее глазах, теперь потухла. Фернхайм понимал, что не он, вернувшийся из плена, был причиной этой радости, что вспыхнула она с новой силой в ту минуту, как воскрес Карл Найс. И хотя удручала причина, но видеть ее счастливой поначалу было приятно. Теперь же, когда померкла всякая радость, наполнилось его сердце жалостью к ней.

Снова поднял он глаза на нее. Она сидела согнувшись и спрятав лицо в ладонях, мокрых от слез. Вдруг вздрогнула, словно в испуге, будто чья-то рука коснулась ее плеча. Вытянула ладонь навстречу, будто защищаясь, взглянула на него сердито.

Сказал Вернер:

— Я сейчас уйду.

Сказала Инга:

— Прощай, Вернер.

Он еще спросил:

— Ты не подашь мне руки?

Она протянула ему на прощание руку.

Он сжал эту руку и проговорил:

— Прежде, чем я уйду от тебя, я хочу что-то сказать.

Высвободила свою руку из его руки и пожала плечами, словно отказываясь слушать.

Сказал Вернер:

— И все-таки тебе не мешало бы выслушать. Пусть не ради этого Вернера, который торчит тут незванным гостем, но ради того Вернера, что удостоился некогда встать с Ингеборг под свадебный балдахин. Но если ты не хочешь, я не стану принуждать тебя. И теперь...

Сказала Инга:

— Теперь прощай.

Сказал Фернхайм:

— Пусть будет так. Прощай, Ингеборг, прощай...

Но хоть и собирался уйти, продолжал стоять.

Она подняла на него глаза, словно удивляясь, что он еще не уходит.

Сказал Вернер:

— В любом случае странно, что ты не хочешь хоть немного послушать, что со мной было.

Сказала Инга:

— Разве ты не рассказал мне?

Сказал Вернер:

— Я начал рассказывать, но твои мысли были в другом месте.

Сказала Инга:

— Уши мои были на своем месте, но ты ничего не сказал.

Спросил Вернер:

— Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе?

Сказала Инга:

— Ты, верно уже рассказал все Гертруде или Хайнцу, или обоим вместе.

Сказал Вернер:

— А если я и рассказал им?

Сказала Инга:

— Если ты рассказал им, то они после перескажут мне.

Сказал Вернер:

— Насколько я понимаю, тебе неинтересно знать.

Сказала Инга:

— Почему ты так говоришь? Я ведь ясно сказала, что Гертруда или Хайнц перескажут мне после, значит, я хочу знать.

Сказал Вернер:

— А если я сам расскажу тебе?

Спросила Инга:

— Который час?

Улыбнулся Вернер и сказал:

— Разве ты не знаешь пословицы: дем гликлихен шлегт кайне штунде — счастливые часов не наблюдают?

Сказала Инга:

— На это я вряд ли сумею тебе ответить?

Сказал Вернер.

— А на все остальное ты готова ответить мне?

Сказала Инга:

— Это зависит от вопросов. Но, боюсь, что сейчас я уже не имею возможности продолжать беседу. И вообще...

— Вообще — что?

— У тебя странная манера цепляться к каждому слову.

Сказал Вернер:

— Тебе представляется странным, что после всех тех лет, что я не видел тебя, я с жадностью хватаюсь за твои слова?

Схватила Инга за голову и сказала:

— О, моя голова!.. Не взыщи, Вернер, но я попрошу тебя оставить меня одну.

Сказал Вернер:

— Я уже ухожу. Ты смотришь на мои ботинки? Они старые, но удобные. Хорошо сидят на ноге. А ты гонишься за модой и стрижешь волосы. Не скажу, что это некрасиво, но когда у тебя были длинные волосы, было красивей. Когда умер мальчик? Я был на его могилке и видел плиту, но забыл дату. Ты плачешь? У меня тоже разрывается сердце, но я сдерживаю себя, и если ты поглядишь

мне в глаза, то не увидишь в них слез. Скажи ему — этому, что стучит в дверь, — что не можешь встать и открыть: у тебя болит голова. Зиги, это ты тут? Что ты хочешь сказать, Зиги? Иди сюда, милый, давай помиримся. Что у тебя в руке? Письмо? Ты почтальон, сын и наследник моего милого шурина?

Протянул Зиги тетке записку и вышел.

Взяла Инга записку и взглянула на Вернера исподлобья, силясь понять, отчего же он все не уходит, этот человек? Ведь должен был, кажется, уже уйти...

Так или иначе, она принудила себя размышлять не о нем, а лишь о том, что должна идти: «Я обязана идти, мне невозможно не пойти, каждая минута промедления...» И снова бросила взгляд на Фернхайма, подумав при этом: он вообще не понимает, что я должна идти!

Посмотрела на него и сказала:

— Извини, Вернер, меня зовут, я должна идти.

Сказал Вернер:

— Откуда ты знаешь, что тебя зовут? Записка так и лежит в твоей руке свернутая, ты даже не взглянула на нее.

Инга стояла, понурившись, опустив плечи, и казалось, что ее воля уступает его воле, и не так уж ей важно теперь, уйдет он или нет. Глаза ее потухли и веки опустились.

Спросил Вернер чуть слышно:

— Ты устала?

Подняла Инга взгляд и ответила ему:

— Я не устала...

Новый порыв охватил вдруг Вернера.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, — замечательно, что ты не устала! Мы можем посидеть и поговорить друг с другом. Ты не представляешь себе, сколько я ждал этого часа: видеть тебя! Если бы не эта надежда, я бы не выдержал. А теперь я знаю, что все долгое ожидание было ничто по сравнению с этой минутой, когда мы сидим тут вместе. У меня не хватает слов рассказать, но мне кажется, какую-то часть ты читаешь на моем лице. Видишь, дорогая, видишь — колени мои сами преклоняются перед тобой. Так они преклонялись всякий раз, когда я думал о тебе. Как я счастлив, что снова нахожусь с тобой под одной крышей! Я не мастер говорить, но одно я скажу тебе: с того часа, как я отправился в путь, душа моя взволнована, как в тот день, когда ты положила свою руку на мою руку и согласилась стать моей женой. Ты помнишь ту мину-

ту, когда ты склонила голову на мое плечо, и мы с тобой сидели рядом — твоя рука в моей руке? Глаза твои были прикрыты. И я, когда закрываю глаза, вижу перед собой все мгновения того неповторимого дня. Выброси записку, Инга, дай мне руку. Глаза мои закрыты, но сердце видит, до чего ты хороша, до чего прекрасна ты для меня!

Пожала Инга плечами и вышла.

Открыл Фернхайм глаза и позвал:

— Инга!

Но Инга уже исчезла.

Стоял Фернхайм одинокий и спрашивал себя: что теперь? Теперь не остается ничего другого, как убраться отсюда. Это ясно, а все прочее лежит в иной плоскости, как выражается мои уважаемый шурина.

И уже отстранился от всех и всяческих мыслей, и напряжение тоже начало отпускать и слабеть. Только врезались в мясо ногти на пальцах ног и пылали ступни. Видно, башмаки, которые он расхваливал за их удобство, оказались вовсе не так уж хороши.

Он сунул руку в карман и вытащил оттуда железнодорожный билет, по половинке которого приехал к жене и по другой половинке мог вернуться обратно. Зажал билет в кулаке и сказал самому себе: сейчас пойду на вокзал и уеду. Если опоздал на дневной поезд, поеду вечерним. Не одни только счастливые не наблюдают часов, несчастные тоже. Для несчастья пригоден всякий час.

Постоял еще немного в комнате, из которой исчезла Инга, затем двинулся к двери и достиг порога. Окинул еще раз комнату взглядом, вышел и прикрыл за собой дверь.

1950 год

Перевела Светлана Шенбрунн



Возможно ли христианство без милосердия?

Многие годы — со времен публикации знаменитого произведения «Как нам обустроить Россию» — не читала Солженицына. И не потому, что статья эта показалась топорной по мысли. И не потому, что простота ее показалась хуже воровства: вот выпишу вам рецепт, по три ложки в день, и будьте здоровы... Или неприемлемой идеологически.... Стилистически.... Главная причина была сентиментальная: душа моя противилась развенчанию кумира.

Столько раз я говорила — и писала! — что три великих человека изменили общественное сознание послесталинского времени: Солженицын, Сахаров и протоиерей Александр Мень. А потом замолчала. Оказалось, что собственные старые установки требуют проверки и пересмотра. Это болезненный процесс, когда вдруг обнаруживаешь, что привычные «дважды два» перестали означать «четыре». Именно Александру Исаевичу Солженицыну отводилась роль «главного перестройщика» общественного сознания. И именно интеллигенция (и тот круг молодежи, которая в начале шестидесятых заканчивала школы и вступала во взрослую жизнь) создала культ Солженицына.

Что мы имели в виду, когда говорили об общественном сознании? Как его измерять, как оценивать? Разговорами в очереди? Опросами по телефону? Результатами выборов?

О себе я могла бы сказать, что как раз моего сознания Солженицын не изменил: оба мои деда сидели в сталинских лагерях, никаких иллюзий по поводу природы людоедской советской власти в семье не оставалось. Кому открыл глаза Солженицын, опубликовав «Один день Ивана Денисовича», несколько потрясающих рассказов и «Архипелаг ГУЛАГ»? Не тем, кто там сидел (полстраны) и не тем, кто его охранял (еще полстраны). Об этом мы не задумывались в те времена.

Конечно, его услышал Запад. Не потому, что был он первым (до него или в то же самое время были написаны многие книги — и «Большой террор» Конквиста был уже опубликован, и Шаламов написал свои «Колымские рассказы») — а потому, что он был героем, выигравшим битву. Не западный ученый, анализирующий трагическую русскую историю в университетском кабинете, не яростный политический оппонент, не эмигрант, а человек, побе-

дивший режим (уже ослабевающий, уже истощенный, выхолощенный режим, но имеющий, казалось бы, достаточно сил, чтобы перемолоть одного отдельно взятого человека, одно «зернышко»). Он был героем, и мир полюбил его за это. Так повелось, что мир любит победителей.

Услышали ли его соотечественники? Несколько десятилетий мне казалось: да, слышали. Сегодня я в этом сомневаюсь. Если бы слышали, не выбрали бы тридцать лет спустя единодушным большинством в президенты страны подполковника КГБ. Испугались бы, задумались, усомнились: оно, конечно, крепкая рука, но не слишком ли?

Тема эта грустная, но говорить об этом я не стала бы, если бы не одно обстоятельство: в одиннадцатом номере «Нового мира» за 2003 год вышла часть мемуарной книги Солженицына «Попало зернышко промеж двух жерновов». Позвонили взволнованные и огорченные друзья: в книге есть строки, касающиеся нашего покойного друга Вадима Борисова, который для нас навсегда остался Димой, и бросающие тень на человека, который уже умер и не может защитить своего доброго имени, своей чести и достоинства.

Будучи совсем молодым человеком, аспирантом-историком, подающим надежды, Вадим Борисов участвовал в сборнике «Из-под глыб», изданным в 1977 году в издательстве ИМКА-пресс. С этого времени жизнь его оказалась связанной тесными дружескими и деловыми отношениями с Александром Исаевичем Солженицыным и его семьей. Это означало, что его жизненный выбор был сделан в пользу служения Солженицыну и его делу, и в жертву этому служению был принесен яркий талант, академическая карьера, да и просто возможность работать по специальности. Это был тяжелый выбор. Жизнь под постоянной слезкой, под угрозой ареста, с прослушиванием телефонных разговоров.

Форма отношений сложилась вполне русская, совсем не западная, когда деловые отношения отделяются от дружеских, а за выполненную работу платится определенное, заранее оговоренное вознаграждение. И Вадим отдавал всю свою жизнь. Он не только собирал для Солженицына материалы, он выполнял и поручения семейного характера. Хотя он был чрезвычайно сдержан и мало кто знал о его тесных связях с Солженицыным, его друзьям было известно, что Вадим ездил на Кавказ, вывозил из города Георгиевска парализованную тетю Солженицына, и какое-то время, прежде чем ее устроили в Подмоскowie, она жила у Борисовых дома.

Солженицын же поддерживал Вадима и его немалую семью, в которой было четверо детей.

Когда начались публикации Александра Исаевича на родине, Вадим Борисов стал его доверенным лицом. Именно об этом периоде пишет Солженицын в «Зернышке», обличая Вадима в недобросовестности и намекая на злоупотребления. В действительности, ни того, ни другого. Допускаю, что Вадим не был хорошим организатором издательского дела, но Солженицын, находясь в Америке, совершенно не представлял себе картины жизни в России вообще и, в частности, хозяйственной жизни в то время, когда цены на бумагу и типографские услуги постоянно росли, а бумагу для книги во многих случаях надо было цивилизованно украсть, и ни о каком бухгалтерском учете и строго оформленных документах не могло быть и речи. Издательское пиратство процветало, и именно для того, чтобы обеспечить сколько-нибудь пристойный издательский уровень и контролировать хотя бы неприкосновенность текстов и вынужден был Вадим Борисов работать под эгидой «Издательского Центра», в чем упрекает его Солженицын.

Но не выяснение деталей бухгалтерской отчетности заставляет говорить на эту тему. Заставляют говорить слова Солженицына: «Ошибку можно простить и миллионную. Обмана нельзя перенести и копеечного».

Речь идет вовсе не о копеечном обмане — речь идет о жизни человека, посвятившего себя служению Солженицыну и его делу. Обвинения в недобросовестности Вадим и не смог перенести. Это подорвало его и без того плохое здоровье и, возможно, сократило жизнь.

В сущности, речь идет о шкале ценностей, заявленной Солженицыном в тот момент его жизни, когда он был уже в изгнании, а его жена и дети оставались в России. Он пишет о том, что дети его оказались заложниками: «...и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не оставим ни за что...»

Логика узнается большевистская: если собственные дети не дороже памяти замученных миллионов, то ведь и замученные миллионы не дороже светлого будущего всего человечества.

А что делать сегодня детям Вадима Борисова? У них скромная задача — сохранить память своего отца, его доброе имя. Мы, друзья Димы, очень любили его, ценили его сердечность, ум, природную веселость, обаяние и широту. Мы по сей день горюем, что он

так рано ушел, что не смог реализовать тот огромный творческий потенциал, который был в нем заложен. Не смог, потому что сделал выбор не в пользу самореализации.

«Та Книга», о которой упоминает Солженицын, написана, опубликована на всех языках, прочтена всем миром, оценена Нобелевской премией» и, хочется верить, действительно сыграла в мире ту роль, которую мы все ей отводили. А как быть с зернышком? Не с тем, которое попало промеж жерновов двух могучих систем и выжило, выстояло, не обратившись ни в муку, ни в лагерную пыль, и дай Бог ему долгих лет жизни... А как быть с зернышком, которому имя было Вадим Борисов, служившему по мере своих сил тому же делу Книги и не заслужившему доброго слова, а одно только бесчестие?

И это тем более нестерпимо, что в поредевшей армии поклонников и почитателей Солженицына, Дима был один из последних, кто хранил ему рыцарскую верность.

И последнее — пусть прозвучит не как упрек, а как вопрос: возможно ли христианство без милосердия?



Die Auferstehung Majakowskis

ELFTES KAPITEL¹
Die Auferstehung

1.

Die Umstände, die zu Majakowskis Tod führten, können wir also zurückverfolgen und benennen. Dennoch bleiben sie uns ein Rätsel. Auf zeitlichen Abstand gegangen, sehen wir deutlich, wie sie alle auf den verhängnisvollen Punkt zutreiben, ja haben wir schier die Hand vor Augen, die den Film seines Lebens eilig zu Ende dreht. Dabei drängt sich uns der seltsame Eindruck auf, daß ihm diese Hand durchaus nicht feindlich ist, daß sie nämlich sein Leben eigens deshalb wie im Zeitraffer abrollen läßt, um es in ganzer Länge in einer anderen Dimension zu entrollen.

Majakowski ist in ebenjenem Augenblick und jenes einzigen Todes gestorben, die für seine Auferstehung notwendig waren. Damit ist natürlich kein körperlicher Vorgang gemeint, sondern das Aufleben seines Werkes, seines Namens und seiner Schaffensmethode, sein Nachleben.

Machen wir die Probe aufs Exempel. Stellen wir uns sein Leben fünf bis sechs Jahre länger vor. Wir sehen, daß jede zusätzliche Spanne Zeit sein Nachleben ernstlich gefährdet hätte. Vor allem — was hätte er noch schreiben können? Mit den Schriftstellerkollegen aus der Kolchose wiedergekommen, hätte er solch ein «Murawien»² hingebaut, daß uns sein «Marsch der Fünfundzwanzigtausend» und sogar seine «150 000 000» wie Kindereien erschienen wären. Denn danach kamen die Hungersnot (1932), der Bau des Weißmeerkanales (1934) und mehrere andere berühmte Ereignisse. Er, der «jeden Tag schäumte in der Wut des Tages», wie Michail Kolzow treffend sagte, hätte die Bände seines Werkes so schonungslos überfrachtet, daß die zarte Schicht unseres Mitgefühls zerdrückt worden wäre, sich der frühe romantische Majakowski für uns verflüchtigt hätte wie der frühe romantische Gorki.

Aber gut, gestehen wir ihm noch zwei oder drei Jahre zu.

Eine Gefahr, auch dem Kurzsichtigsten sichtbar, zieht schon von einer anderen Ecke herauf. Selbst wenn er Veronika Polonskaja friedlich geheiratet und die Kooperativwohnung (für die er schon angemeldet war) mit ihr bezogen, Stimme und Temperament endgültig geknebelt und sich zum bescheidenen Literaturbeamten (der er im Grunde schon war) entwickelt

hätte — irgendwann wäre auch er beseitigt worden, wenn nicht für seine einstige Auffälligkeit so zumindest für seine Tschekistenbande.³ Briks sind durch seinen Ruhm verschont geblieben, er nur durch seinen Freitod.

Mancher wird meinen, solch Märtyrertod wäre seinem Nachleben noch dienlicher als der Freitod gewesen. Bei einem andern vielleicht, nicht bei ihm, hier liegen die Dinge anders.

Majakowski als Dichter und Mensch setzt sich für uns aus zwei Momenten zusammen: der Rezeption seines Werkes (im einzelnen wie im allgemeinen) und allen Formen seiner offiziellen Anerkennung. Nein, das ist nicht die übliche Verquickung von Eigenem und Fremdem, wie Tynjanow sie in seinem «Puschkin in den Jahrhunderten» zeigt, jenem Fremden, das wirklich außerhalb und abgelöst von seinem Objekt, dem Dichter, besteht. Das von Menschenhand geschaffene Denkmal für Majakowski (das abstrakte, allgegenwärtige, allmaterielle) stellt einen untrennbaren — und den wohl größten — Teil von Majakowski und Majakowskis Lebenssinn und Hauptanspruch an das Leben dar. Dem postumen Majakowski nehmen, was an ihm Denkmal ist, hieße von einem andern Dichter und Menschen sprechen, einem aus der Reihe der «verschiedenen Majakowskis», *den es nicht gegeben hat*.

Die physische *Vernichtung durch die Macht*, die dem Nachleben Mandelstams nur wenig geschadet und dem von Pilnjak oder Artjom Wessjoly vielleicht sogar nachgeholfen hat, würde sein Nachleben gänzlich vereitelt haben. Vereitelt wäre es auch worden, wenn er die Abschiedszeilen («daß ich sterbe, dürft Ihr keinem zur Last legen») früher geschrieben hätte, 1923 etwa — damit wäre das Denkmal vereitelt worden, er hätte es sich einfach noch nicht verdient gehabt.

Die sieben letzten, fetten Jahre seines Lebens, die sieben mageren seines Schaffens, diese schon so gut wie postumen sieben Jahre sind ihm eigens dafür vorbehalten worden.

Dieser gleichsam höhere gestalterische Plan der äußeren Kräfte mit seinem Schicksal verleiht seinem Leben eine denkwürdige, beklemmende Bedeutung.

2.

Der Dichter pflegt sein Leben mit seinen letzten Versen zu vollenden. Der Tod kann den Menschen in jeder Lage ereilen, des Dichters wird er sich aber erst bemächtigen, wenn dieser seine notwendigen letzten Worte gesagt hat, solche, die als Symbol und Schlüssel taugen.

«‘Der Fall ist gepfeffert’ ...», so Majakowskis letzte Verse, *abgeschrieben*

mit eigener Hand, aber viele Monate vorher entstanden. Die letzten von ihm *geschriebenen* Verse sind «Marsch der Fünfundzwanzigtausend» («Vor rückt der Feind, / ein Ende jetzt setzen / seiner popenkulakischen Brut^A) oder auch «An den Genossen Jugendlichen» («Wir marschieren in die Kommune, / die Reihen geschlossen, / Alte, Erwachsene und Kinder. / Genosse Jugendlicher, / sei kein Kind, sei / Kämpfer und Tätiger!«)). Hier ließe sich natürlich bequem sagen, keine Verse von ihm erfüllen die Rolle des Symbols und Schlüssels besser als diese. Sie würden aber eine Karikatur ergeben, nicht sein Porträt, nicht seine Gestalt, letztlich auch nicht sein Leben. Auch wenn sie so ziemlich ins Schwarze treffen — wir halten dafür, daß seinem Leben und unserm Gespräch über ihn ein ernsthafterer Abschluß gebührt.

Darum wollen wir uns (inspiriert durch unseren Helden) auch einmal einen Austausch erlauben und seine real letzten Verse des Ranges der letzten Verse entheben, zumal dieser Rang ohnehin schon von aller Welt dem letzten *Poem* zugesprochen wurde.

Dies übrigens zu Recht. Der Vorspruch zu «Mit ganzer Stimme» drückt die Quintessenz seines ganzen Schaffens und seiner Dichterpersönlichkeit oder dessen, was sich an ihre Stelle gemogelt hat, aus. Das Generalthema des bereits in Todesnähe geschriebenen Poems ist abermals die Beschwörung einer fernen prächtigen Zukunft, wo der Autor leibhaftig zugegen, also wiederum von den Toten auferstanden ist.

Schreiben wir einige dieser uns von Jugend an geläufigen Zeilen heraus:

«Hört mich, / Genossen Nachkommen, / den Agitator, / Häuptling Brüllhals. / Überdröhnend der Lyrik Geström, / werde ich hinwegtreten / über Bände voll Lyrik, / ein Lebender, / mit Lebenden redend, / und kommen / ins kommunistische Fernab / ohne romanzenjesseninsche Zier. / Mein Vers wird kommen / hinweg über den Bergkamm der Zeiten / und Poeten und Vorsitzendenköpfe. / Mein Vers wird zu euch kommen, / doch wird er es anders / als bei amorleierischem Jagdspiel der Pfeil, / als zum Münzensammler / die abgegriffene Münze, / als längst verblichener Sterne Licht. / Mein Vers wird durchbrechen / das Massiv der Jahre / und zu euch kommen, / wichtig, wuchtig und greifbar, / so wie die Wasserleitung / kam in unsere Tage, / vorzeiten gebaut / von den Sklaven Roms.»

Was uns diese Verse auch inhaltlich bedeuten mögen, sprachliche Wirkung können wir ihnen nicht absprechen. Alle Intonationsübergänge, alle Akzente sind in einer Weise gesetzt und austariert, wie es nur ein Meister vermag. Die Sprachfiguren haben solch eine Eindringlichkeit, daß fast alle in den Sprachgebrauch eingingen.

Nur einmal in diesem Text zollt der Autor der «wissenschaftliche

Phantastik» Tribut: in dem ausgedehnten Vergleich der Verse mit kämpfenden Truppen. Aber auch dieses Stück hat Energie und Schwung. Hier aber wollen wir innehalten und der Untugend der Tendenziösheit frönen, ohne hin sind wir darin nicht ganz ungeübt. Wir zupfen an diesem kleinen Zipfel, um etwas Größeres ans Licht zu holen.

Ist nur «Mündung an Mündung gepreßt» ein unmögliches, nicht faßbares Bild? Wie steht es mit «Mündung der Titel» oder «Kavallerie der Pointen»? Ach, und die ganze Zeilenfront, rhythmisch so schön angeordnet, fügt sie sich überhaupt in unsere Vorstellung?

Nein, fügt sich nicht, doch seltsam, das scheint uns nicht weiter zu kümmern. Der ganze Abschnitt ist ein glänzendes Beispiel für demagogische Virtuosität, das meisterliche Trimmen von Inhalten und Worten auf eine vorgefaßte Schablone.

Der Ausgangspunkt ist unser alter Freund, das Klischee. Dem Publikum (der Gegenwart?, der Zukunft?) soll gezeigt werden, daß die Verse *kämpferisch* sind. Also werden die Seiten mit Truppen, die Reime mit Lanzen usw. verglichen. Suche nach passenden Vergleichen — so die Absicht der ganzen Passage. Nur, die auf die Absicht hingebogenen Vergleiche müssen zwangsläufig unstimmig und beliebig geraten. Die Lanzen der Reime und die Kavallerie der Pointen können ebensogut die Lanzen der Pointen und die Kavallerie der Reime sein, es bleibt sich gleich. Auf der ersten Seite sind die Zeilen Schlagringe, auf der nächsten Kampffront und Truppenlinien. Wie bringt man das auf einen Nenner? Zwecklos, es überhaupt zu versuchen — alles nur Worte Worte. «In den Kurganen der Bücher, / darin begraben liegt der Vers, / der Zeilen Schlagringe / zufällig findend ...» Ich weiß noch, wie ich als Junge diese abgöttisch geliebten Zeilen auswendig lernte, dabei aber nicht auf den Gedanken kam, ihnen sprachlich auf den Grund zu gehen und dieses Genitivgewirr zu entwirren. In den Kurganen der Bücher, in den Kurganen der Zeilen Schlagringe, die Schlagringe der Reime ... Erst die nüchterne Erwachsenenlogik half mir, die Beziehung all dieser Wörter zueinander zu klären, freilich auch nicht immer mit letzter Gewißheit.

Wenn wir uns von diesem Zentrum in zwei Richtungen fortbewegen, nach unten auf den Schluß und nach oben auf den Anfang zu, werden wir noch einen anderen Widerspruch finden, der zwar weniger auffällt, doch schwerer wiegt; er liegt Majakowskis ganzer Poetik zugrunde.

Wovon handelt das Poem? Vom Autor, richtig. Es hat zwei nebeneinander herlaufende Themen: die künftige wohlverdiente Auferstehung und eine ausgiebige Selbstdarstellung, durch die Wohlverdientheit der Auferstehung Bestätigung finden soll.

«Ihr werdet vielleicht auch fragen nach mir». Was wissen die

Nachkommen schon noch vom Dichter, sie kennen seine Gedichte nicht oder nur zeilenweise. So muß der Dichter selbst erzählen, wer er war und was er gemacht hat. Das zum einen. Zum andern: «überdröhnend der Lyrik Geström ... ein Lebender, mit Lebenden redend». Sein Vers wird eingehen in das künftige Leben, wird zum Alltag gehören, jedermann unentbehrlich sein. Na dann, Leute — «setzt die Brillenräder auf!» —, ist ja alles in Ordnung, besteht zu Trübsal kein Grund. Nein, besteht doch ein Grund! Denn wenig weiter treten die Kurgane der Bücher auf, darin begraben liegt der Vers, und der Zeilen Schlagringe, nur zufällig in dem versteinerten Haufen gefunden. Was denn nun, durchbricht der Vers das Massiv der Jahre oder nicht? Der Ruhm ist ausgeblieben — ach was, wozu auch. Von Anerkennung keine Spur — ist doch egal. Lieber Denkmal werden für uns alle, ja. Stirb, mein Vers, als namenloser Soldat. Doch wenn es so ist und sich der Autor derart mit allem zufrieden gibt — wozu noch sich recken und strecken und das Parteibüchlein heben über aller Köpfe hinaus? Wozu noch mit dem Zisch-Krächz-Laut «Ze-Ka-Ka» die Zukunft und nebenbei auch die Gegenwart angackern?

All diese einander zu Fall bringenden Zickzacks — bei jedem anderen Dichter würden sie genügen, das ganze Dichtwerk zu Fall zu bringen. Nicht bei Majakowski. Majakowski werden sie deshalb nicht gefährlich, weil sie nur Kriterien betreffen, die seinem System fremd sind: Sinn für Realität, Wahrheits — und Faktentreue und wirkliche Motivation.

Womit das Poem am meisten verblüfft — wie *vollendet* es in seiner Welt der Hüllen und Masken ist. Mehr als anderes von Majakowski gibt es uns das Gefühl, daß irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, eine übernatürliche Kraft, *übermenschliche Magie* waltet und über die Leere der Worte hinwegtäuscht. Nicht von ungefähr hat der scharfsinnige Leser Juri Tynjanow gerade am Beispiel dieses Poems geäußert, daß Majakowskis Verse «Einheiten eher einer Muskelanspannung als einer Rede» seien. Wer Sinn oder Sinnfälligkeit sucht, wird das Hauptelement des Poems nicht entdecken: der mächtige pulsierende Energiestrom. Ohne Erdung im Inhalt der Worte braust er über die Worte hin und reißt alles auf seinem Wege mit. Wahrlich, eine einzigartige Dichtung — jede Zeile hat Flügel, aber keine einzige auch nur ein Gran Wahrheit. Muß einem das nicht unheimlich sein? Majakowskis Gestalt steigert sich hier ins furchterregend Gigantische.

«Über die Bande hinaus von Schmarotzer — und Raffer-Poeten ...»

Unversehens imaginieren wir eine Szene wie aus dem Gruselkabinett: wiedererwacht in der Zukunft, richtet Majakowski sich auf, erhebt sich zu voller Größe; riesig wie ein kustodijewscher Bolschewik, mit finsterner Miene setzt er sich in Bewegung, stampft Poeten nieder und schleudert sie

beiseite, bahnt sich den Weg zu der hohen strahlenden Tribüne, und sein schwerer Unterkiefer malmt ...

Gott im Himmel, ist er nicht gar der *Gottsebeiuns*?!

Nicht zum erstenmal denken wir diesen Namen. Was stellt er in unserem Kontext dar? Ein Schmähwort nur, Ausdruck unsere Abneigung und Abwehr, oder mehr?

Unmöglich natürlich, eine gültige Antwort darauf zu finden. Obwohl es heute nicht wenige gibt, die eine solche längst haben.

3.

Die Renaissance der Religion, wie wir sie gegenwärtig erleben, hat uns weniger zum wahren Glauben geführt (was ist das, der wahre Glaube?) als uns Gott und Teufel (besonders letzteren) als universales Ausdrucksmittel wiedergegeben. Von neuem halten wir eine Meßlatte in der Hand, die sich bequem anlegen läßt an jede Lebenssituation, jedes Schicksal, ob die eines Menschen oder einer ganzen Nation. Das ist der Teufel, sagen wir, und das und das ist er nicht. Und das da — zwar ist es nicht gleich der Teufel, aber dies und das hat es von ihm. Und alles bekommt seinen Platz, alles Unklare klärt sich, mehr zu klären gibt es nicht, wozu noch reden. Verlockend, nicht wahr?

Gänzlich auf dieses abschüssige Gleis gesetzt, wäre das Gespräch über unseren schwierigen Helden von sich aus weiter — und bis ans Ende gerollt, ohne sich von unserm Bemühen ablenken zu lassen. Jetzt, nach allem, was schon gesagt wurde, laufen wir freilich gefahr, daß selbst die kurze Erörterung dieser Sicht wie ein schaler Zweitaufguß wirkt. Da das Stichwort nun aber gefallen ist, wollen wir unserer Regung nachgeben und einige Gesichtspunkte nennen.

Der Gottsebeiuns, der Teufel. Der Antipoet. Seine Bestimmung in dieser Welt ist der Austausch: Kultur durch Antikultur, Kunst durch Antikunst, Geistigkeit durch Antigeistigkeit.

Die Wahl fällt auf einen geeigneten jungen Mann: ichsüchtig und getungsbedürftig, mit unsteter, furchtsamer Seele, dafür kräftiger Stimme und hoher Statur, der sich also äußerlich unübersehbar von allen anderen unterscheidet. Hundert Jahre zuvor ist Träger der höchsten Gabe, Träger des göttlichen Feuers ein Menschlein von weniger als mittlerem Wuchs gewesen, dazu mit einem Namen, der schmunzeln macht⁵ Der teuflische Plan verlangt nach einer augenfälligen Erscheinung und einem eindrucksvollen, bedeutungsvollen Namen.

Anfangs wird unser junger Mann nur gesäugt und gefüttert. Daher einer

seits seine überschießende Energie, andererseits sein noch lebendiges Gesicht — unfreundlich zwar, ohne ein Lächeln, aber noch keine Maske. Die Überstellung seiner Seele an des Teufels Distrikt ist erst später erfolgt, um 1915.

Der Austausch ist das Ziel, ist aber auch Mittel, so daß er stets etwas Unvollständiges behält. Keine menschliche Auffassung würde auf ein Menschenimitat ansprechen, dem jeglicher menschliche Zug abgeht. So werden dem jungen Mann die Liebe zur Frau, Verletzlichkeit und Seelenpein belassen und seinen Aufrufen zur Schmähung all dessen, was heilig ist, Milderungen beigemischt in Form heldischer Gesten: «Ich reiße die Seele mir aus, / trample auf sie, / daß sie groß wird.» (Seele, anfangs hat er dieses Wort noch häufig verwendet, doch nur in mechanistischem Sinn, als handele es sich um ein eigenständiges, vom Körper getrenntes Ding.)

Dann die Verführung durch die Frau, der blutige Pakt. Ein klassischer Schritt, seit Menschengedenken erprobt. Das Jahr 1917, Katastrophe und Chaos, alles zerbricht, doch die neue Macht mit ihrer noch unausgeformten Ordnung hat bereits ihren ausgeformten Dichter. Einen, den Blok anerkennt, Gorki schätzt, Zwetajewa preist.

Er löst seinen Pakt Punkt für Punkt ein, legt einen ungeheuren Fleiß an den Tag und setzt jedes Quantum der ihm zugeführten Energie um. Nach zehn Jahren hat er es geschafft, hat er jeden Aspekt des ihn umgebenden Lebens umgestülpt und mit einer schlagkräftigen Formel versehen.

Gegen Mitte der zwanziger Jahre ist nahezu alles Menschliche aus seiner Seele geschwunden. Hier geschieht es, daß der *große Sponsor* die Energiezufuhr drosselt und nach und nach einstellt. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan ...

Aber die Verdienste wurden bemerkt und notiert.

Man schenkt ihm einen letzten Impuls für das letzte Poem. Nein, nicht fürs Poem, nur für den Vorspruch, gerade darin liegt aber das Geschenk. Vor dem Poem selbst bleibt er bewahrt. Dafür ballt sich die ganze ihm letztmals gesponserte Energie in diesem Bruchstück zusammen, eine Dichte annehmend, daß man schier die Gestalt des Sponsors darin erkennt.

«Am Schwanz der Jahre werde ich Ebenbild der seit Urzeit Geschwänzten ...»

Die letzte grausige milde Gabe der dunklen Mächte an ihn: für den großen Aufwand und die treuen Dienste die Tragödie. Sein Leben, das sich in Farcen und Banalitäten zu zerfasern droht, endet plötzlich mit einer Tragödie, deren Echtheit nicht zu bezweifeln ist. Über Nacht hat sie eine Brücke geschlagen zwischen dem Behördenzoff und Debattenplunder des Sowjetjahrs 1930 und der romantischen Rebellion seiner Jugendzeit. Der

Suizid hat viele, viel zu viele mit ihm versöhnt, jede Zeile, jede Äußerung von ihm ins Licht der Tragödie gehoben. Er hat ihm Denkmäler aller Art, Millionenaufgaben, vielbändige Forschungen eingebracht. Die «Intelligenzlerchen», die er stets so herzhaft bespuckt hat — in aller Welt rutschen sie vor ihm auf den Knien und studieren jeden seiner Buchstaben mit der Lupe. Der Pakt ist erfüllt. Aber wer weiß, vielleicht hält er auch noch die reale, physische Auferstehung bereit, wenn nicht im buchstäblichen so im abgewandelten Sinn? Wenn ja, so wird auch diese erfüllt werden, darauf können wir wetten, *bei ihnen* geht es ehrlich zu.

In Fortsetzung des Gedankenspiels schöpfen wir nun sogar den Verdacht, daß seine wundersame Auferstehung in der Sowjetwirklichkeit, die ja so reich an Wundern ist, bereits stattgefunden hat. Ja, kein Zweifel, schauen wir uns nur um. Sie hat es in Gestalt einer Posse und dreier Ausführungen: Jewtuschenko, Wosnessenski, Roshdestwenski. Bei jedem feiern bestimmte Seiten von ihm ihre leibhaftige Wiederkehr.

Bei Roshdestwenski die äußeren Attribute: Statur, Stimme, der grobe Gesichtsschnitt und die Verstufen; dann die Verschwommenheit des Blicks und des Wortes und ein sprachlicher Pfusch, wie er Majakowski selbst nur bei äußerstem Kräfteverfall unterlief.

Bei Wosnessenski — der Wind um nichts und Sinn für Effekte, die Vorliebe für Technik und Komfort sowie der wie ein Spielzeugpropeller aufziehbare Frohsinn und ein nämlicher Grimm.

Bei Jewtuschenko, dem lebendigsten und begabtesten unseres Trios, die ganze Breitseite der Selbstparodie, doch auch alles, was menschlich an ihm war.

Alle drei sind über ein Rebellentum, das den rückversichernden Blick nie vergessen hat, über Oppositionellen-Show, Estradenruhm und sowjetische Auslandsvertretungen gleichzeitig zu Bekanntheit gelangt. Alle drei haben Majakowskis Alter weit überschritten und werden, wie zu hoffen ist, noch lange bar jeder Tragödie durchs Leben gehen. Nichts von Majakowskis ausgemachten Stärken steht ihnen zu Gebot, weder das scharfe Wort — und Rhythmusgefühl noch gar die übernatürliche Energie. Dafür erben sie die Neigung zum Konstruieren, das Verhältnis zur Welt als Hülle, das Verhältnis zum Wort als Teil eines Konstrukts, das Verhältnis zur Wahrheit des Wortes und Wahrheit des Faktes sowie einige Charakteristika: das Herausstreichen der eigenen Person, die Maske, die Didaktik. Die Hauptgabe aber, die von ihrer Vorinkarnation auf sie kam, heißt: mit solch verzweifelter, höchstem und letztem Mut untätigste Schwüre zu brüllen, als warte um die Ecke das Schaffott auf sie und nicht die Kasse mit dem Honorar.

Majakowskis Persönlichkeitslogik folgend, stehen wir uns unversehens selbst als Objekt seiner Weissagung gegenüber: «Professoren werden studieren / bis zur letzten Note, / wie, wann und wo / ich erschien. / Ein großstirniger Trottel / auf dem Katheder / wird faseln von einem Gott-Teufel ...» Immerhin können wir uns damit trösten, daß dieser Trottel eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem zu Leben erweckenden Chemiker hat: großstirnig.

Ein Gedankenspiel, wie gesagt. Natürlich geht dergleichen nicht an, wenn uns an einer ernsthaften Analyse liegt. Auch ist uns die Art der spekulativen Konstruktion, wie sie uns eben entschlüpfte, nur zu gut bekannt. Gleicht sie doch zu sehr jenem ausgewalzten Vergleich, über den wir uns oben mokierten. Anscheinend hat er sich spornstreichs an unsere Fersen geheftet. Wir bedienten uns extrem irrationalistischer Begriffe, um die Methode zu verschleiern. Und anstatt den genauen Namen zu finden, haben wir einen vorgefundenen Namen, einen Klischee-, einen Schimpfnamen gesetzt.

Andererseits, ein Name paßt nicht auf jeden. Bei Majakowski finden wir aber sofort, daß keiner besser als dieser paßt. Rührt das nicht vielleicht daher, daß die Sonderbarkeit seines Schicksals das Maß menschlicher Sonderbarkeit übersteigt und seine Unbestimmtheit als Dichter zu einer anderen Sphäre gehört als der, die wir Dichtergeheimnis nennen?

4.

Doch hier müssen wir innehalten. Die Welt des Übernatürlichen und unser Begriffssystem stehen nun mal in keinem Zusammenhang. Wenn sie sich dennoch berühren, dann nur so leicht, daß es auch der skeptischste Rationalist annehmen kann.

Unter dieser Prämisse muß jede Erzählung mit dem Tod ihres Helden, selbst eines so unsterblichen wie des unsern, zum Stillstand kommen. Ein Lebensende ist das Ende einer Bewegung, was immer danach noch zu sagen sein mag. Wenn wir unser Gespräch noch etwas ausdehnen wollen, müssen wir also in Kauf nehmen, daß es statisch ist oder einer anderen Bewegungsart gehorcht. Dies um so mehr, als das Thema Nachleben eines Dichters naturgemäß zu *anderen* Dichtern führt, solchen, die auf die eine oder andere Weise weitertragen, worin das Wesen ihres Vorgängers bestand.

Es gibt die Auffassung, daß alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, wenn sie nur stark genug sind. Daß aber die Schicksalsmächte unsere Unvollkommenheit nutzen (Halbheit des Ausdrucks, Verschiedenheit der Kriterien) und uns zwar geben, worum wir bitten, aber anders als erwartet.

Majakowski hat seine Auferstehung bekommen, freilich nicht im Geiste Fjodorows, nicht indem die und die Moleküle wieder die und die Synthese

eingingen und sein totes Gebein (das übrigens eingäschert wurde — ob das in seinem Sinne war?) wieder Fleisch ansetzte. Ihm wurde die begehrte Auferstehung in der einzigen Weise zuteil, die die Gesetze von Tod und Leben einem Dichter und Menschen gewähren können. Dabei hat aber das Schicksal die Invarianten, d.h. die bestimmenden Faktoren, die erlauben, nicht von Einfluß oder Wirkung, sondern von Reinkarnation zu sprechen, nach seinem Gusto gewählt. Unser Held schrieb ein Gesuch auf den Namen eines Chemikers: «Tragen Sie selbst ein ...» Möglich, daß die postwendende Antwort aus der Zukunft ihn selbst nicht zufriedengestellt hätte, wir jedoch, die wir von abseits und schon fast aus der Zukunft blicken, sehen, daß seine Wünsche erfüllt wurden. Ob uns das gefällt, ist eine andere Frage.

Marina Zwetajewa nannte Majakowski den «in der Welt ersten Dichter der Massen». Damit hat sie ein verbreitetes Klischee wiederholt (oder vorgegessen). Aber aus diesem Mund hört sich alles anders an, aus diesen Händen möchten wir alles annehmen. Wir denken nach: wer weiß, vielleicht hat sie sogar recht? Ein Dichter der Massen muß nicht unbedingt ein Dichter *für* die Massen sein, er kann auch ein Dichter sein, der bestimmte Wesenszüge des Massenbewußtseins zum Ausdruck bringt, weil er die Massen, d.h. das Weltverständnis der Massen, verinnerlicht hat. Interessant, daß nach dem berühmten Führersignal Majakowski erstmals in niemand anderem als den Massen auferstanden ist, wenn auch nur unvollkommen und fast ausschließlich im Formalen: in den schreibenden Massen. Das Tönen und Flimmern seines Namens in Funk und Presse, die Aufnahme seiner Texte in den Lehrplan der Schulen machten, daß sich der Strom der Graphomanen — bzw. Laienergüsse in Blitzes Eile umorientierte. Schnell fanden die schreibenden Massen heraus, daß «à la Majakowski schreiben» leichter und schöner ist als à la Blok oder Jessenin, zumal bei Humor und Satire und ähnlicher Staatsbürger-Lyrik. Sie erhoben die äußeren Verselemente zum non plus ultra, warfen mit dem unregelmäßigen Versmaß die Notwendigkeit über Bord, die Zeilen genau aufeinander abzustimmen — welche Freiheit und Weite! Viel besser als mit der klassischen Form ließ sich damit bemänteln, daß an der Stelle des unausgesprochenen Darüberhinaus ein schwarzes Loch war. Bald wimmelte es in allen Wandzeitungen, Zeitungen und Zeitschriften von Stufenversen, akrobatischen Mehrsilbenreimen, vorsichtigen Neologismen, klangvollen Suffixen, die vereint Geschichten erzählten von sträflich versäumten Rechenschaftsberichten, unerfüllten Arbeitsverpflichtungen, von Volksfeinden, froher Zuversicht und anderen ernsten Dingen der Zeit.

Die vollständige und vollwertige Reinkarnation ließ dann noch lange auf sich warten, dazu mußte erst eine neue Generation kommen. Auf den Grad

ihrer Wirkung kann man schon schließen, wenn man die Wirkung bedenkt, die Majakowski zu Lebzeiten auf andere ausübte — eine Wirkung, die weniger Wirkung als *Infiltration* war. Sie wurde um so stabilisierender, je mehr Ähnlichkeit, und um so verheerender, je mehr eigenes Talent da waren.

Assejew, Kirsanow, Selwinski usw. brachte die Nähe zu Majakowski zweifellos Gewinn. Sie kam ihnen handwerklich zugute, führte sie in den Dichterberuf ein, lehrte sie Punkt für Punkt, «wie man Verse macht».

Eine beträchtliche Dosis Majakowski-Strahlung haben zu verschiedenen Zeiten auch bedeutende Dichter abbekommen, Pasternak und Sabolozki z.B. Zum Glück ist sie nicht tödlich gewesen, im Gegenteil — sie hat die Abwehrkräfte gestärkt.

Aber Pasternak befand sich lange in einem kritischen Zustand.

«... daß du nicht halb und nicht nebenbei nur / heute mit den Arbeitern bist, daß wir vereint / unsere Menschheit zu Göttern formen, / wird unser letztes großes Gefecht.»

Dieses Prachtwerk aus den Zeiten des Lef gibt ihn uns noch halbwegs zu erkennen. In anderen Versen derselben Zeit finden wir ihn kaum wieder.

Geht es an,
ein Lied dieses Sodom zu nennen,
das die Erde,
sich stürzend von Büchern
auf Lanzen und Bajonette,
annahm
mit solcher Not?

Die Stufen, gebe ich zu, sind von mir, aber der Text stammt wirklich von Pasternak.

Heute können wir kaum noch ermessen, wie ernst es um ihn gestanden hat.

«Als Majakowski und ich uns näher kennenlernten, entdeckten wir überraschende technische Gemeinsamkeiten, ähnliche Bildstrukturen, eine ähnliche Behandlung des Reims. Ich liebte die Schönheit und den Erfolg seiner Bewegungen. Besseres konnte mir nicht passieren.»

Besseres konnte ihm nicht passieren ...

Wenn er nicht rechtzeitig aufgewacht wäre, würden wir heute mit ihm keinen Pasternak, sondern einen 150%igen oder sogar — ein Viertel geht an Assejew — 175%igen Majakowski haben.

Wo die Gemeinsamkeiten liegen, sah er richtig — im Bereich des

Handwerklich-Technischen: der Struktur, des äußeren Baus. Pasternak hat die Realität nicht verrenkt und zerstückelt wie Majakowski, sondern hat ein geschlossenes Bild von ihr gebaut. Dank seines «Gottes der Details». Doch eben — gebaut, d.h. konstruiert, und darin traf er sich mit Majakowski. An diesem Punkt kamen sie sich so gefährlich nahe, daß der eine — die Kraft des Vakuums ist bekannt — den andern unverzüglich aufzusaugen begann. Wir können nur von Glück reden, daß Briks und die ganze Lef-Kompanie fremde Seelen nicht vertragen und Pasternak wieder abgestoßen haben.

«Alles wandelt sich unterm Welt-Zodiakus — / Pasternakus bleibt Pasternakus.»

Dieses Epigramm von Alexander Archangelski klingt heute wie ein Seufzer der Erleichterung.

5.

Es gibt noch einen großen Dichter, der eine Strahlendosis abbekommen hat, eine so starke, wie sie nur Auserwählten vorbehalten sein kann. Er ist nicht auf Abstand, nicht in Deckung gegangen. Genauer gesagt, sie: Marina Zwetajewa.

Die Grenze zwischen ihrer frühen und ihrer späten Periode liegt nicht bei der Revolution oder der Emigration, sondern dazwischen und führt durch das Gedicht «An Majakowski». Diese beiden Perioden unterscheiden sich so grundsätzlich voneinander, daß wir nur staunen können, meinen wir doch zu wissen, daß Zwetajewas Vorzug gerade in ihrer Geschlossenheit liegt. Die frühe, späte, die junge, reife oder die alternde Zwetajewa sind in der Tat ein und dieselbe Person, ihre Konstanz, ihre Treue zu sich nötigt uns größte Bewunderung ab. Alles an ihr ist aufs höchste gesteigert — Liebe und Abscheu, Trauer, Schmerz, Bitterkeit, Zorn. Was wir von ihren Gedichten auch halten mögen, stets wird sie für uns die ergreifendste, am meisten auf uns übergreifende Erscheinung der russischen Poesie bleiben. Im Unterschied zu Majakowski ist sie immer echt und sie selbst, ist sie entschieden, klar, aufrichtig und (manchmal sogar bis zum Überdruß) freimütig.

Doch sie hat eine bestimmte Gemeinsamkeit mit Majakowski, und die ist entscheidend: die Gewolltheit, Vorbedachtheit, das konstruktivistische Denken und vor allem das Verhältnis zum Wort. Dieser ihr Kern, weil gebettet in die Natürlichkeit von Rede und Rhythmus, bleibt anfangs lange verborgen, wird jedoch später zum Angriffspunkt eines Hakens, der sie aus dem harmonischen Fluß an Deck hinaufzieht. An das harte, flache Deck des Eisbrechers «Tscheljuskin».

«Heute — lache ich! / Heute — lebe hoch mir / die Sowjetunion! / An

euch halte ich / mit jedem Muskel mich, rufe stolz: / Tscheljuskinze ist gleich Russe!»

Wie anders klingt dieses Motiv bei der anderen, frühen Zwetajewa: «Mein Name ist Marina, / mein Treiben Verrat, / ich, ein vergehender Meerschäum!»

Zwischen diesen Perioden verläuft eine Wasserscheide, die so aussieht:

«Hoch über Kreuzen und Schloten / Gekreuzigt in Feuer und Rauch, / Erzengel-Stampffuß — / Wladimir aller Zeiten, bravo! ...»

Ein zugkräftiges, ein gutes Gedicht, und doch — warum lesen wir es mit solcher Besorgnis? Weil nach ihm die Sintflut kommt. Danach setzt eine andere Zwetajewa ein, die, anstatt *sich* mit dem Wort auszudrücken, das Wort traktiert, es bedrängt und bedrückt, damit es endlich, endlich, Hergott nochmal, *sie* ausdrückt. Der «Nachgiebigkeit des Russischen» überdrüssig, führt sie einen Krieg mit der Sprache nicht aufs Leben, sondern auf den Tod.

Wirkliches Neuerertum wird nur eine unfruchtbar gewordene, rückständige Tradition verletzen, keinesfalls aber die Gesetze der Natur und Harmonie, der menschlichen Wahrnehmung und Vorstellungskraft, es hat sogar einen äußerst wachen, geschärften Sinn für sie. Und sie, diese Gesetze, sind es, die dem Vers eine ihm lebensnotwendige Eigenschaft auferlegen — *Lesbarkeit von sich aus*. Ein Vers mag so kompliziert sein wie er will, er muß nur eines können — *sich von sich aus lesen lassen*, ohne Hilfe von außen. Solche Hilfe pflegen uns — Rezitatoren gleich, die der Dichtung mißtrauen — Dichter aufzudrängen, deren Kopf sich der Harmonie widersetzt und sie hindert, sich mit dem lebendigen Wort zu verschwistern.

«Um es dir ganz zu sagen ... Doch nein, in Reihen / und Reime gesperrt ... Das Herz ist ja weiter!»

So klagt Zwetajewa über die Enge, die beengten Möglichkeiten der Versform. Die «Reihen und Reime» als Hemmnis für die Gefühlsäußerung. In ihrer Art hat sie damit aber durchaus recht. Recht von der Warte eines Menschen, der im Vers nicht leben, sondern sich auf Biegen und Brechen erklären will.

Der Eindruck von Künstlichkeit einer poetischen Rede zeugt nicht unbedingt von Schwäche, eher im Gegenteil — er muß aber ausgeglichen sein durch Harmonie. Nur in diesem Fall ist er zu existieren berechtigt. Bei der reifen, der zweiten Zwetajewa wird er aber nicht ausgeglichen, sondern läuft unverändert bis zum Schluß mit, um als Bodensatz zu verbleiben. Der Vers, weil mit dem Kopf gebaut, kann die reichen Autorgefühle nicht fassen, so übt er mit Reim und Rhythmus Druck auf sie aus. Lesbarkeit von sich aus ist ihm fremd, auch kann er sie gar nicht gebrauchen. Von sich aus les

bar, würde er nicht nur verlieren, was er ausdrücken, sondern womöglich dazubekommen, was er nicht ausdrücken soll. Um ihn in Schach zu halten, beginnt ihn der Autor zu quälen, jedes Wort wird pressiert, damit es nicht ausdrückt, was es ausdrückt, sondern einzig und allein *echte* Gefühle. Das geschieht durch syntaktische Zeilenüberspringer, jähe Zeilenbrüche, grafische Hervorhebungen und vor allem eine Unmenge von Satzzeichen. Das Gedicht wird wie zu einem Bühnenstück, dessen Zuviel an Regieanweisung den Text erdrückt. Die Lektüre wird zu einer mühseligen Inszenierung, die den Leser überfordert und aller Empfindung beraubt. Oder ob das Absicht ist?

Der Leser wird ständig ermahnt: aufpassen, aufpassen, jedes Wort aussprechen, das eine laut, das andere leise, dieses kurz, jenes lang, dann Pause machen, dann abbrechen auf die halbe Synkope genau! Wozu nur solche Schwerstarbeit? Um einen Mangel oder umgekehrt ein trotzig Vorbliebenes, nämlich die unerwünschten elementaren Eigenschaften des Verses zu überspielen?

Natürlich hat auch Zwetajewas späte Periode unbestreitbare Höhen. Da ist es, als sei sie aus einem bösen Traum, wo ein unnatürliches, irrales Gesetz geherrscht hat, erwacht, um sich befreit im lebendigen Vers zu ergießen. Doch auch hier entsteht nur allzuoft kein sichtbares oder hörbares Bild, sondern eine tönende Formel, ein glänzender Aphorismus, die im Augenblick zwar beeindrucken mögen, aber ohne Echo und Wirkung bleiben.

Aus diesem zermürbenden Krieg zieht sie sich eines Tages zurück und wendet sich der Prosa zu. Hier ist sie großartig — geistvoll, scharfsinnig, artistisch, inhaltsreich. Hier können ihre Leistungen nicht genug gewürdigt werden — in der Tat, erste Spitzenklasse, ganz auf der Höhe ihres elenden, leidvollen Lebens. Und doch, auch hier gibt es eine Grenze zwischen Organisch und Konstruiert, nur zeitlich nicht so genau bestimmbar. Zumindest wird sie weniger durch den Zeitpunkt des Schreibens bestimmt als vielmehr durch den Gegenstand, der zur Rede steht, ein Mensch, ein Ereignis. Wo der Gegenstand klar umrissen ist, hauptsächlich wenn er in ferner Vergangenheit liegt, erweist sich die Prosa als meisterhaft; wo er es aber nicht oder nur halb, wo er nur Anlaß statt Notwendigkeit ist, wird der Sprache erneut Gewalt angetan, drängen sich an die Stelle des Wortes *Wörter*, des Gedankens Sätze, Absätze, Seiten. Ein aufgezoogenes Uhrwerk, das unbedingt ablaufen soll bis zum Anschlag. Statt Lesbarkeit von sich aus mechanischer Ablauf. Keine Satzfigur, die endete, bevor nicht alle Wörter etwa derselben Wurzel oder desselben Präfix aufgeführt sind. Statt der tieferen, geheimen Verwandtschaft von Wort und Wort oder Wort und Begriff

oberflächliche, mechanische, *grammatische* Verwandtschaft. Ein linguistisches Karussell, das nichts bewirkt außer daß es uns schwindlig macht.

«Majakowski lange lesen ist aus rein physischer Belastung unerträglich. Nach Majakowski muß man viel und lange essen.»

Dieses richtige Wort der *ersten, reichen* Zwetajewa trifft genausogut auf Zwetajewa selbst, doch die *zweite, arme*, zu.

Erstaunlich, wie sehr sich Majakowskis Verse und die ihrer zweiten Periode der Form nach ähneln, manchmal sogar bis ins einzelne Wort.

«Feuerwehr! — die Seele brennt! / Oder ist es, was brennt, unser Haus?
// Zum Eiffelturm reichst du hin mit der Hand. / Streck sie aus und steige! //
Ich will in dieser Kiste voll Frauenleiber / Nicht abwarten des Todes Gong!
/ Ich will ...» usw.

Aber am deutlichsten ist die Ähnlichkeit bei der sozialen Thematik. Dasselbe Pathos, dieselbe Art Bilder, einmal sogar dieselben blutüberströmten Leiber:

«Eilt, eilfertige Sergeanten! / Der Kaufherr von Dielenpflegern erstochen!
/ Da, schluckt nur, was nie euch geträumt: / Der Kaufherr erledigt von Dielenpflegern.»

Zum Vergleich (Majakowski): «Mit dem Mes-ser-lein — den schnau-fenden Gutsherrn — ritsch — ratsch!»

Derselbe Haß auf die Dicken und Satten, derselbe Zeigefinger gegen den Kleinbürger, sogar unter Bemühung des vielbemühten Federbetts, dieselbe Klage über Benachteiligung und Armut. Mit dem einen Unterschied freilich: Zwetajewa ist nicht im Ersterklasseabteil internationaler Züge gereist und hat wirklich zeitlebens gedarbt. Aber gerade dadurch sieht Majakowskis Robe so unförmig an ihr aus, zu sichtlich wie geliehen oder von der reichen Tante geerbt. Fast immer fällt der Vergleich zu ihren Ungunsten aus. Denn das müssen wir Majakowski lassen — er zeigt nur das, was er hat. *Was* er hat, ist allerdings nur Maske. Zwetajewa läßt durch die Maske des Verses immer auch sich selbst blicken. Da es das einzige ist, was uns interessiert, drängt es uns ständig, die Maske beiseite zu schieben, den Vers beiseite zu schieben, um die bekannten lebendigen Züge zu sehen.

Sie hat Majakowski geliebt. Majakowski wie auch Pasternak. Pasternak war ihr sehr nah, ihr schien sogar, hautnah, war aber zu hermetisch, daher als Vorbild zu ungefährlich. Majakowski war ihr fern, stand ihr wie allen aber ständig vor Augen. Seine unumstößliche Sichtbarkeit wurde ihr zur Verführung ...

Sie hatte viel Männliches an sich, hat sich oft selbst als groben Schlacks, als Urian, Erzengel-Stampffuß empfunden. Kein Zweifel, mit ihrem «An Majakowski» meint sie sich auch selbst.

Wiederum: nicht Einfluß sondern Infiltration — Majakowskis Nisten in der Seele eines andern Dichters. Hier einer ihm zwar wesensfremden, doch in bestimmten nicht unwesentlichen Punkten verwandten.

Über Majakowski und Pasternak schrieb Zwetajewa den berühmten Essay «Epos und Lyrik des zeitgenössischen Rußland», eine vorzügliche Arbeit. Doch indem sie die Besonderheiten der beiden nennt, scheint ihr zu entgehen (wenn aber nicht, würde sie es nie eingestehen), daß sie nicht von Lyrik und Epos, sondern von Poesie und Unpoesie spricht. Sie urteilt sogar so rigoros, daß man Majakowski hier und da verteidigen möchte. Am aufschlußreichsten sind jedoch ihre Verwandtschaftskriterien.

«Wir kommen zu dem einzigen Maß der Dinge und Menschen in der gegebenen Stunde des Zeitalters (1932 — J.K.): dem Verhältnis zu Rußland. Hier sind Pasternak und Majakowski Gleichgesinnte. Beide sind für die neue Welt ...»

Von hier ist es nicht mehr weit bis zu «Russe ist gleich Tscheljuskinze», «lebe hoch mir» usw., Stationen, die sie letztlich auf den Weg Paris — Moskau leiten werden und weiter — nach Tschistopol und Jelabuga ...

«Euch Höhlenaufklärern / Ein schallendes: SSR — / Durchs Dunkel der Himmel schallt es / Nicht weniger zwingend als — SOS.»

So, über die Konstruktion, über Losung und Deklaration führt die Ausdrucksmethode zur Methode der Wirklichkeitswahrnehmung und des Verstehens der (neuen) Welt. Bravo, Wladimir!

6.

Auch heute — die drei Dichter-Parodien lassen wir beiseite — haben wir zumindest einen Dichter, in dem Majakowski weiterlebt, und zwar in einem Maße und einer Qualität, wovon unsereins nur träumen kann, der wohl wichtigste von allen, die es überhaupt gibt: Josef Brodski.

Unsere erste Regung bei diesem Namen — jede Gemeinsamkeit mit Majakowski weit von uns zu weisen.

Fern aller betriebsamen Selbstbehauptung, keiner Macht unterworfen, nur mit sich selbst im Bunde, aussätzig und verstoßen, stellt Brodski in allen seinen Lebens — und Schaffensmerkmalen äußerlich das ganze Gegenteil von Majakowski dar. Kultur und Revolution, Vergangenheit und Zukunft, Staat und Individuum, Gott und Technik, schließlich schlicht nur Gut und Böse, all diese der Welt wichtigen Begriffe tragen in beider Systeme entgegengesetzte Vorzeichen.

Definiert sich ein Dichter aber aus dem *System seiner Anschauungen?*

Nein, sondern allein aus seiner Ausdrucksmethode, seiner Art, die Welt, wie er sie auffaßt, auszudrücken.

Prompt sagen wir — ach wo, auch hier nicht die kleinste Vergleichsmöglichkeit: eine traditionsgebunden achtsame Behandlung des Wortes, makelloser klassischer Versmaß, ein ruhiger Sprachfluß, dessen einzige Schwäche das Herüberziehen einer Sinneinheit in die nächste Zeile oder sogar Strophe und der dürftige, bewußt ungenau gehaltene Reim sind. Wo wäre hier Gemeinsames mit Majakowski?

Der Witz liegt aber gerade darin, daß Brodski nicht Nachahmer, sondern Nachfolger ist, die wandelnde Fortsetzung von Majakowski. Ein völlig eigener, selbständiger Dichter, für unsere Zeit vielleicht ebenso neu wie Majakowski für die seine. Majakowski hat eine Tendenz begründet, Brodski zeitigt ihr Ergebnis. Nur daß Brodski nicht, wie Majakowski, einen, sondern mehrere Plätze einnimmt, für andere, ausgebliebene Dichter gleich mit.

Außer viel gebildeter ist Brodski auch viel intelligenter als Majakowski. Und über sein Können kann man nur sagen, daß es ins Absolute geht. Nicht nur daß er geschickt vermeidet, seine Stilmittel sehen zu lassen und damit den Leser darauf zu fixieren — wie kein zweiter weiß er auch mit ihnen hauszuhalten und sie wirkungsvoll einzusetzen. Alles fügt sich unter seinen Händen geschmeidig aneinander, nichts sperrt hervor oder fällt zu Boden, alles ist von einem so straffen Bogen gehalten, daß selbst hohlste Zeilen wie zwingend notwendig erscheinen. Das erste Gefühl, das in uns aufkommt, wenn wir ihn lesen, und uns bis zum Schluß beherrscht: Hochachtung und Bewunderung. Das zweite trägt den Namen dessen, was danach aufkommt.

Noch spürbarer als bei Majakowski bleibt bei Brodski jede bildliche Wirkung aus. Bei ersterem ist es Folge des Konstruktivismus, zwar ins Gewicht fallend, doch nur am Rande, bei letzterem Prinzip. Brodskis Stärke wird uns bei jedem seiner Worte bewußt, doch unsere Lesenseele, der es auf Mitautorschaft und Katarsis ankommt, will kein diktiertes, sondern ein freies Wort, das ein Bild in uns wachruft. So lesen wir wieder und wieder, um das erhoffte Bild zu gewinnen, jedesmal scheint uns, daß es gelingt, aber jedesmal gehen wir leer aus. Die Ebene hat uns getäuscht, die zwar hoch, aber ledglich die des *Gesprächs* ist, nicht der Wahrnehmung und Empfindung.

Wir fühlen uns seltsam erniedrigt. Uns ist wie nach einer Raute auf einem vornehmen Ball: dasselbe verschämt-geschmeichelte Gefühl der Zugehörigkeit, dieselbe physische und psychische Ermattung und dieselbe emotionelle Leere. Ist denn zu glauben, daß soviel so reich, klug und schön Gesagtes einem nichts gesagt haben kann?

Fällt Ihnen nicht auch auf, wie wenig sich einem diese Verse einprägen?

Auswendig kann sie nur, wer sie eigens gelernt hat. Warum das so ist? Weil fast allen statt der inneren Logik eines Bildes die äußere Logik eines *Syntax*-Gebildes innewohnt. Brodskis wichtigster Gedichtband heißt «Redeteil», ebenso ein Sammelband ihm zu Ehren. Dieser grammatische Titel ist natürlich kein Zufall, «Satzteil» würde allerdings noch besser passen. Denn trotz aller Sorgfalt des Wortes liegt dem Vers nicht das Wort, nicht die Zeile oder Strophe, sondern allein der Satz zugrunde. Am deutlichsten wird dieses Prinzip, wo sich der Satz über mehrere Strophen erstreckt, aber auch kürzeste Verse weisen es auf.

Die Spannung zwischen rhythmischer und syntaktischer Struktur, fortlaufend zu beobachten, erweckt den Eindruck von Fülle und Tiefe, der aber nach der Lektüre wieder vergeht. So kommt es übrigens, daß besonders die längeren Gedichte, wo der Satz über mehrere Strophen läuft, reicher und bedeutsamer erscheinen als sie sind. Es kann auch geschehen, daß es den Satz formal gar nicht gibt, er in der Strophe nur existiert als unausgedrückter oder nie gänzlich ausdrückbarer Gedanke. Er läuft von Strophe zu Strophe, von Mal zu Mal einen Tropfen mehr aufnehmend, wie uns, die wir sehnsüchtig warten, versprechend, sich im nächsten Moment voll zu ergießen und sein Woher und Wohin zu enthüllen. Aber dann bleibt er wie er ist liegen, eine gewölbte Quecksilberlache am Boden der letzten Strophe.

Ja, Brodski ist ein sehr talentierter Mensch.

Von seinen Versen zieht es uns in der Brust.

Versen, wie sie Onegin geschrieben hätte, hätte er nicht die Mühe des Schreibens gescheut. Freilich, bevor er sich in Tatjana verliebte.

Apropos Onegin. Hier das zwar nicht schlagende, aber bemerkenswerte Beispiel einer Ähnlichkeit — das Nachäffenspiel mit der Klassik.

Majakowski: «Ihr Mann, man weiß, ist ein Esel, und sein Maul trieft vor Lüge, / Ich liebe Sie, werden Sie schnellstens die meine. / Heute morgen noch muß ich gewiß sein ...» usw.

Brodski: «Indes, der Mensch, meine liebwerten Herren, / Ist sich der starken Gefühle so ungewiß, / Daß ihm ewig das Maul trieft vor Lüge ...» usw.

Man kann noch mehr Verbindungslinien ziehen, etwa diese: «Der Tage Ochse ist falb, / Träg der Tage Karren. / Unser Gott ist der Lauf, / Unsere Trommel das Herz» (Majakowski). — «Jeder vor Gott ist nackt. / Klein, nackt und erbärmlich. / In jeder Musik ist Bach, / In jedem von uns Gott ... / Denn die Ewigkeit [gehört] / den Göttern, / Und die Vergänglichkeit — den Ochsen. / Das Göttliche wird uns Götterdämmerung» (Brodski)⁶

Die Unterschiedlichkeit, ja Gegensätzlichkeit des Sinns spielen hier kaum eine Rolle. Wichtiger sind Intonation und Rhythmus, das Verhältnis zum Wort, zur Materie Vers und zur Materie schlechthin. Wichtig ist, daß wir

auch hier nur eine Hülle ohne Wesen haben, ein kunstvolles Gefäß voller Leere. Majakowskis leerstehende Seele weist immerhin noch Schmerzpunkte auf, die hier und da hervorblitzen aus dem Vers; heute scheint selbst das und die Notwendigkeit dessen entbehrlich zu sein. Neue Zeiten, neue Lieder. Majakowskis Epoche hat die Ablehnung hoher und starker Gefühle erklärt, die heutige macht sie wahr. Heute, wo die Treue zu den ethischen und kulturellen Werten lautstark erklärt wird, hat das Maß an Austausch, an Schein und Vorgeblichkeit den Gipfel erreicht. Nicht nur die Werte, die ganze Lebenswirklichkeit sind ein Phantom geworden. Von allen Genres gibt es nur noch die Parodie. Alle Prosaiker schreiben Pamphlete und Farcen, alle Dichter ironische Traktate, wo jedes echte Gefühl Anführungszeichen erhält. Alle ergehen sich in Verrenkungen, höhnen und äffen, selbst die Ernsthaftesten halten stets die fünf Finger bereit, der Welt eine lange Nase zu drehen. Ungewiß ist zudem, was parodiert wird — das reale Leben oder eine Literatur, die es einst ausgedrückt hat, oder eine, die es ausdrücken könnte? Früher wurden die Wertmaßstäbe verdreht, heute werden sie ignoriert. Und Josef Brodski, der *Beste und Talentiertesten* von heute, der seinen hohen Titel nicht aus Beamten-, sondern aus Leserhänden empfing, legt am besten und talentiertesten Zeugnis darüber ab.

Mit ein und demselben Ernst und Unernst, ein und derselben Trauer und Ironie, ein und derselben Geschmeidigkeit und Eleganz schreibt er über den Tod: eines gefangenen Schmetterlings, einer Frau (nein, nicht der geliebten, nur einer, mit der er irgendwann ... ach, unwichtig), schließlich Marschall Shukows und schließlich und endlich Maria Stuarts. Das kunstvolle Satzgebilde verzweigt sich, findet wieder zusammen nach allen grammatischen Regeln und endet, wo der Punkt gesetzt ist.

Grausig.

Von wegen Onegin — ein elektronisches Hirn! «Der elektrischen Dienste Zimmer ist fashionabel ...»

Die Bewegung in Raum und Zeit als physische Kategorie, wie ungemein nimmt sie Brodski gefangen. Was macht es, daß Majakowski all seine euklidischen Hüllen schon ausgeschöpft, ja ausgekratzt hat — Brodski wächst auch hierin über ihn hinaus. Seinerseits nun ganz vorsätzlich, konstruiert er in einem von vornherein verkrümmten unendlichen Raum. Dabei ist die Unendlichkeit, wie er sie behauptet, nur flüchtig besehen unendlich. Auf die Probe von Verstand und Gefühl gestellt, erweist sie ihre Begrenztheit. Ein paarmal wird das sogar offen eingestanden.

«In einer Epoche der Vollendungen leben mit erhabenem Sinn / Ist zu schwierig leider. Man streift der Schönen den Rock hoch / Und sieht, was man suchte — und kein Wunder. / Und nicht daß man rechnete wie

Lobatschewski — / Die geöffnete Welt muß sich ja wieder schließen, und hier — / Hier ist das Ende der Perespektive.»

Die Unendlichkeit findet ihre Grenze an einem bezeichnenden Punkt. Ein Weiter gibt es tatsächlich nicht. Ende der Perespektive.

7.

Betonung des Rationalen und Ablösung der Dichttechnik von der Seele des Dichters, die ganze neuere russische Poesie ist davon durchdrungen. Daß Majakowski darin weiterlebt, bestätigt sich am stärksten im verstärkten Weiterleben jener neuen Ästhetik, deren Begründer und Kündler er war.

Ironische Maske statt Ausdruck seiner selbst, grammatikalische Kompliziertheit statt bildliche Dichte, dazu des Lesers Vergnügen an virtuoser Technik anstelle des Wunsches nach Mitautorschaft und Katarsis. Dieser Weg ist sichtlich zur Magistrale geworden, daher müssen wir damit rechnen, daß selbst beste — oder gerade beste, große vielleicht — künftige Dichter ihn gehen werden, indem sie der tieferen Stimmigkeit von Wort und Bild die wirkungsvolle äußere Stimmigkeit der Formel den Vorzug geben. Hoffen wir, daß es nicht geschieht, ich fürchte, es wird geschehen.

Majakowski ist wie der Sog eines Trichters; wer sich ihm nähert, wird aufgesaugt. Selbst sein tragisches Schicksal hat etwas gefährlich Verführerisches, zeigt es doch, daß man unbekümmert, aus voller Brust, mit ganzem Talent der Unwahrhaftigkeit dienen und dabei doch so etwas wie ein Märtyrer werden kann, oder zumindest jemand, dem unbedingtes Mitgefühl gebührt. Für Mitgefühl gibt es ja keinen strengen Rahmen, und würde das weite Leserherz es über sich bringen, sein Mitgefühl rechtzeitig zurückzunehmen und mit Ablehnung zu ersetzen? So beginnen Worte von Majakowski, einst mit höchstem Pathos gesprochen, jetzt aber nur noch für Anekdoten tauglich, für bittere Anekdoten über eine bittere Zeit — so beginnen diese Worte im Kopf und Munde des Intellektuellen ihre alten Ansprüche zu erheben, und bald ist es wieder soweit, daß sie, diese Worte, für den authentischen Ausdruck einer Zeit, wenn nicht für Wahrheit gehalten werden.

Unser Verhältnis zu Majakowski wird immer zwiespältig sein. Wer den einen Majakowski wählt, wird den andern umgehen oder aussondern, auf Schritt und Tritt aussondern müssen, sich der Undankbarkeit dieses Tuns bewußt und des Erfolges ungewiß.

Wäre es da nicht redlicher, auf die Wahl zu verzichten?

Wladislaw Chodassewitschs schonungsloser Nekrolog ist in manchem

objektiv ungerecht, subjektiv aber nur allzu begreiflich. Chodassewitsch schrieb keinen Artikel, sondern sprach eine Beschwörung, ein eigenwilliges «Weiche von mir!» Zu einer anderen Zeit — vorsichtiger, verhaltener, mit schlechtem Gewissen — hat Boris Pasternak ein gleiches getan.

Majakowskis Anziehung muß früher oder später seine Abstoßung folgen, das gebietet allein schon das Gesetz der Selbsterhaltung. Auch deshalb wird die große Bedeutung seiner Erscheinung keiner bestreiten können.

Im Grunde hat Majakowski ein Unmögliches geleistet. Er bewegte sich in einer Schicht hohler, fruchtloser Begriffe, hantierte mit der oberflächlichen Bedeutung des Wortes und den Hüllen von Menschen und Dingen und brachte es dennoch zuwege, diese seine verlorene Sache auf die Höhe von Poesie zu erheben. Eine Höhe nicht der Qualität, nein — an dieser Grenze läßt sich nicht rütteln —, sondern der Geometrie nach. Sein Gipfel ist grau und kahl, schenkt dem Blick weder Erbauung noch Andacht, doch weithin sichtbar, ragt er über viele Nachbarn hinaus.

So wird es bleiben, ob wir wollen oder nicht. Das macht seine Einzigartigkeit aus, seine sonderbare Größe, seinen unabänderlichen Ruhm.

Moskau, 1980-1983

Anmerkungen

¹ Fortsetzung aus «Studio» Nr. 7.

² muraw — die Ameise. Anspielung auf das Poem «Wunderland Murawien» von A. Twardowski.

³ Heute ist die Version im Schwange, damals, im April 1930, sei das tatsächlich geschehen, à la: der Abschiedsbrief ist eine Fälschung von Brik, Veronika Polonskaja wurde gezwungen, ihr Zeugnis auf die Wünsche der Tscheka auszurichten, und der Ausspruch «der Selbstmord war Mord» gilt im direkten Sinne des Wortes. Natürlich bezweifle ich keine Sekunde, daß unsere tüchtigen Organe jederzeit fähig und willens waren, dergleichen zu tun, bin jedoch sicher, daß sie es nicht getan haben. Nein, Majakowski *wurde* nicht, er *hat* sich getötet. Argumente und Indizien dafür gibt es viele. Vor allem, *damals* wäre es keinem von Nutzen gewesen, denn wem stand Majakowski im Wege? Er war krank, gebrochen, schwach und gefügig. «Immerhin ist er aber Mitwisser gewesen ...» Wenn er etwas gewußt hat, so nur sehr wenig; ihn zu beseitigen hätte keinen Sinn und Verstand gehabt, und es nur so, für alle Fälle zu tun, dafür war die Zeit noch nicht reif. Bedenken wir auch seine alte Manie und die Suizidstimmung am vorletzten Tag. Besonders überzeugend beantwortet diese Frage aber der Wortlaut des Briefes. Wohl hätte Brik die

Unterschrift fälschen können — der Stil, die Stimme, die wir untrüglich heraushören, sind unnachahmlich. Nein, nicht schuldig! Und die Aufzeichnungen der Polonskaja können schon deshalb nicht im Auftrag verfaßt worden sein, weil sie erstens der Art und dem Inhalt nach keinem Auftraggeber günstig gewesen wären und weil sich zweitens solche Einfalt in einem schriftlichen Text ebensowenig vortäuschen läßt wie Talent. Und schließlich, bei Mord hätte es mindestens vier direkte und indirekte Zeugen gegeben (die Nachbarn nicht gerechnet): Briks, Lawut und Polonskaja. Doch keinem von ihnen (einschließlich der Nachbarn) ist später ein Haar gekrümmt worden. Dieser (nachgerade erstaunliche) Umstand entkräftet am ehesten jenen kriminalistischen Verdacht. (J.K.)

⁴ Verse hier und im weiteren in wörtlicher Übersetzung.

⁵ Gemeint ist A. Puschkin; puschka — die Kanone.

⁶ majak — der Leuchtturm.

Übersetzt von Ilse Tschörtner



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН /1888-1970/

Израильский писатель, лауреат Нобелевской премии за 1966 год.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА

До переезда в Германию (в 1995 году) жила в Новокузнецке, где закончила институт и работала инженером в проектно-институте. Сейчас живет в Швармштедте. Печталась в московских журналах «Родомысл» и «Фома». Ее повесть «Надпись на стекле», опубликованная в журнале «Новая Арена», была признана по результатам читательской анкеты «лучшим материалом года» («НА» №5 — 2000г.).

ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

Поэт, эссеист, журналист. Родилась в Петербурге (Ленинграде). С 1992-го живет в Штутгарте. Автор шести книг на русском языке и четырех — на немецком. Была основателем и зам. главного редактора литературного журнала «Родная речь». Составитель и редактор нескольких антологий, выпущенных под эгидой Толстовского фонда и альманаха «ВЕК XXI».

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1924 году в Смоленске. Участник Великой Отечественной войны. Автор широко известных повестей и романов, в том числе — «А зори здесь тихие...», «Не стреляйте в белых лебедях», «Завтра была война» и многих других. Лауреат Государственной премии, премий Независимой писательской ассоциации «Апрель», международной — «Москва-Пенне» и Союза писателей Москвы «Венец».

СЕРГЕЙ ВИКМАН

Родился в 1951 году в Москве. Автор сборника стихов «49» и книги рассказов «Табаш». Последняя — в соавторстве с Н. Петровым. В Германии с 1999 года. С 2001 г. сотрудничает с журналами «Партнер» и «Партнер-Норд».

ЕЛЕНА ЕЛАГИНА

Поэт, эссеист, литературный критик. Автор поэтических книг «Между Питером и Ленинградом» и «Нарушение симметрии». Печталась в журналах «Новый мир», «Арион», «Звезда» и «Нева». Лауреат премии журнала «Звезда» за 1998 год в номинации Поэзия. Живет в Санкт-Петербурге.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

Автор девяти книг стихов и прозы. Член Союза писателей Москвы и

Русского ПЕН-центра. В настоящее время работает над второй книгой «Библия и русская поэзия». Первая книга под тем же названием (от Тредиаковского до Блока) вышла в Москве в 1999 году в издательстве «Изограф». Живет в Мюнхене.

ЮРИЙ КАПЛАН

Поэт, литературный критик. Составитель и редактор академических антологий русской поэзии Украины и ежегодного альманаха «Юрьев день». Автор нескольких поэтических сборников, один из которых — «Створки моллюска» — вышел в Германии. Член литературно-научного общества при университете в Регенсбурге. Живет в Киеве.

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ /1938-1992/

Прозаик, поэт, публицист. Его книга «Воскресение Маяковского», главы из которой мы публикуем для немецких читателей /см. №№ 5,6,7 «Студии»/, была удостоена премии В.Даля.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Московский журналист, работал в «Огоньке», «Новом времени», «Известиях».

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

Родилась в Москве. Училась на истфаке Московского государственного педагогического института, окончила высшие литературные курсы. Автор 15 поэтических книг и нескольких десятков сборников переводной поэзии, в основном, с таджикского и казахского языков. Стихи переводились на многие иностранные языки. Главный редактор журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А». Лауреат литературной премии «Венец». Живет в Москве.

МАРИЯ ЛИТВИНА

Поэт и прозаик. Член союза писателей Москвы. Живет в Берлине.

ЕЛЕНА МАДДЕН

Литературовед. Изучала славистику в университетах Лейпцига и Берлина. Автор литературоведческих статей в академических сборниках и в русскоязычной прессе Германии и Америки.

МЕЛИТА НОЙМАН

Родилась в немецкой колонии на Украине, вместе с родителями в годы войны была вывезена в Германию. После возвращения в СССР жила в Архангельской области, Казахстане. Окончила Институт иностранных языков. С 1980 года проживает в Ганновере. Перевела ряд произведений Пушкина, Маршака, Бродского.

АЛЕКСАНДРА СВИРИДОВА

Кинодраматург. В 1992-1993 на Российском телевидении ею созданы телефильмы для программы «Совершенно секретно» /Главный редактор — Артем Боровик/. С 1993 — в Америке. В 1994 году удостоена гранта Лириан Хелман и Дэшиела Хаммета. Автор эссе, книг прозы и поэзии. Член Литературного фонда России с 1977 года. Член Союза кинематографистов с 1990 г.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

Лауреат французской премии Медичи, итальянской премии Джузеппе Ацерби и многих других.

Ее романы, повести, рассказы переведены на 17 языков. Живет в Москве.

СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН

Прозаик. Ее книги широко известны в России и за ее рубежами. Роман «Розы и хризантемы» был включен в шортлист Букеровской премии в 2000 году. Переводит с иврита на русский язык произведения израильских писателей. Живет в Иерусалиме.

ВИТАЛИЙ ШНАЙДЕР

Родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с семьей переехал в город Таллин (Эстония). Профессия — журналист. Работал в редакциях ряда русскоязычных газет страны. Выпустил в свет две книги стихов: «Прерванный сон» (Таллин, 1996 г.) и «Знак совпадения» (Таллин, 2001 г.). Сейчас живет в Ганновере. Член Международного союза журналистов (IFJ). Входит в состав правления немецко-русского литературного общества «Die Fähre / Паром».

НЕЗАВИСИМЫЙ
РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH-DEUTSCHE
LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ

Подписано к печати 21.12.2004.
Гарнитура Times New Roman Cug.
Печать репринтная.
Бумага 80 г/м²
Формат А5, 223 стр.



BUKWA®
VERLAG

Postfach 4224
30042 Hannover
Deutschland

По вопросам издания книг и журналов
обращайтесь по телефонам

Fon: 0511-400-82-60
Fax: 0511-400-82-59
Mobil: 0160-514-12-97
E-mail: bukwal@t-online.de

BUKWA
TEXT•BILD•VERLAG

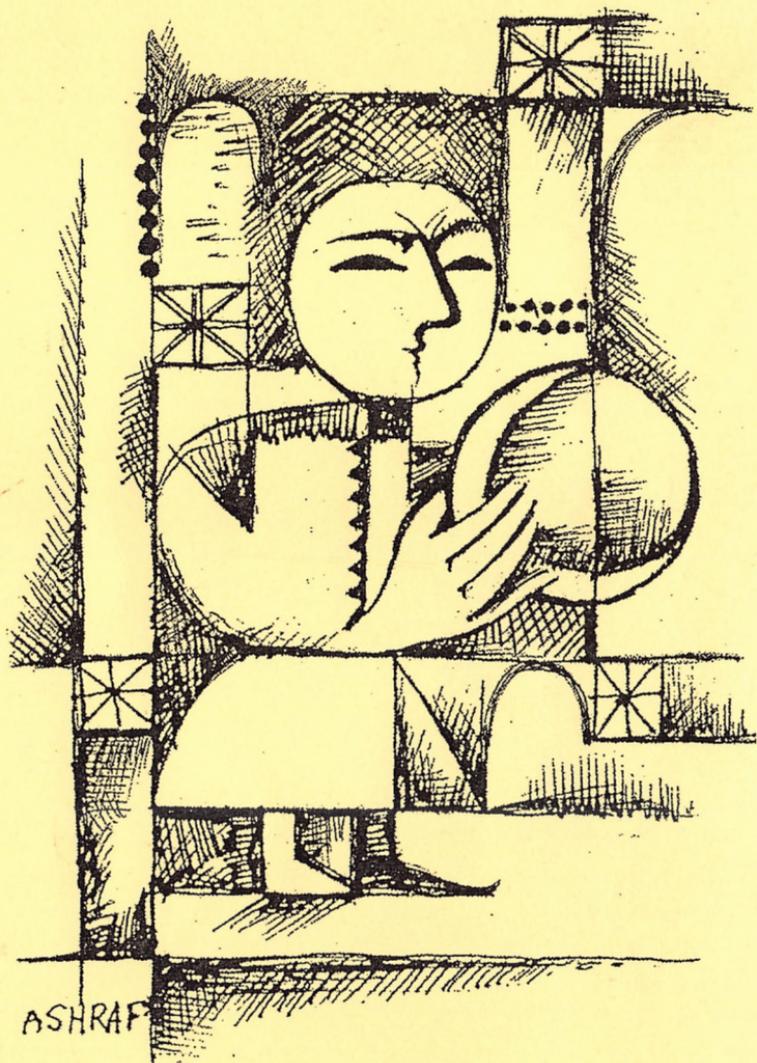
**Обратитесь к нам,
и Ваши Рукописи
превратятся в Книги!**



0511 -400 82 60
0160-514 12 97
часы работы с 12.00 до 18.00



- ✱ *...доступные цены!*
- ✱ *...индивидуальный подход!*
- ✱ *...короткие сроки изготовления!*
- ✱ *...тираж от 2 экземпляров!*
- ✱ *...высокое качество!*



ALEXPRESS VERLAG